

Альманах

of 18 ja

*Литературно-художественный
альманах*

Семейка



выпуск восемнадцатый

*Вупперталь
2018*

Уважаемые читатели, взрослые и маленькие!

На одной из презентаций «Семейки» меня спросили: «А где вы ищете авторов для вашего альманаха?» Я ответил, что это не я, а они находят меня, и поведал о тяжкой доле редактора, вынужденного отбиваться от пишущих толп, жаждущих публикации... «Шутка!», – тут же сознался я и рассказал, как оно бывает на самом деле. А бывает по-разному: кроме постоянных и любимых авторов, которых я приглашаю на страницы альманаха, кроме тех, кого мне рекомендуют друзья, кроме действительно поступающих время от времени предложений от незнакомых ранее лиц, многое в этом деле происходит спонтанно. В частности, большое влияние на меня оказывают литературные фестивали, где собирается вместе такое обилие талантов, что немедленно возникает неодолимое желание чуть ли не всех пригласить в альманах. Так случилось и в прошлом году на Всемирном поэтическом фестивале «Эмигрантская лира», который вот уже девять лет проходит в бельгийском Льеже. Любителям и ценителям поэзии (а они, на удивление, не переводятся!) очень рекомендую в рубрике «Литкафе» стихи президента ассоциации «Эмигрантская лира», организатора фестиваля и редактора журнала с аналогичным названием Александра Мельника, членов жюри Валдемара Вебера, Андрея Грицмана, Анны Креславской, лауреата фестиваля Марины Эскиной и призеёра Андрея Якубовского. Ещё в сборнике три гостя с этого фестиваля – Татьяна Перцева, Ирене Крекер и Валерий Двойников... Из постоянных наших авторов – поэты Ольга Бешенковская, Татьяна Ивлева, прозаики Елена Морозова, Вениамин Агеев, Валерий Воскобойников. Из рекомендованных (спасибо Светлане Кабановой!) – большой современный поэт Анатолий Аврутин, стихами которого мы открыли этот выпуск.

Есть ещё один способ попасть на страницы «Семейки». К нему прибег Анатолий Белкин, посвятивший мне свой лимерик:

*Некий Авцен в своем Вуппертале
Всех грозил пропечатать в журнале,
А вот Пушкина – нет:
Видно, слабый поэт,
И меня там пока не издали.*

Ну и как после этого не напечатать такого автора?!

Обычно мы соблюдаем примерные пропорции между произведениями для взрослых и детей, но в этот раз получился перекос в сторону первых. Но зато в разделе «Они сошлись», кроме других хороших авторов (плохих не печатаем-с:)), у нас эксклюзивные стихи из архива замечательного донецкого поэта Павла Шадура!

Как всегда, не без гордости сообщаем обширную географию наших авторов: Германия, США, Австралия, Бельгия, Финляндия, Украина, Россия.

Составитель

Стихи



и проза

Анатолий АВРУТИН

Минск

Анатолий Юрьевич Аврутин родился и живет в Минске (Беларусь). Окончил БГУ. Автор более двадцати поэтических сборников, изданных в России, Беларуси, Германии и Канаде, двухтомника избранного «Времена», книги избранных произведений «Просветление». Лауреат Национальной литературной премии Беларуси и многих международных литературных премий, в т. ч. им. Э. Хемингуэя (Канада), «Литературный европеец» (Германия), им. К. Бальмонта (Австралия), им. С. Есенина, им. И. Анненского, им. Б. Корнилова, им. А. Чехова, им. Н. Лескова, им. В. Пикуля, «Серебряный голубь России-2017» (все – Россия), им. Н. Гоголя «Триумф» и им. Г. Сквороды «Сад божественных песен» (Украина и др. Академик Международной Славянской Академии (Варна, Болгария), действительный член Академии российской литературы, член-корреспондент Российской Академии поэзии и Петровской Академии наук и искусств, академик международной литературно-художественной Академии (Украина). Член Общественной Палаты Союзного Государства России и Беларуси. Главный редактор журнала «Новая Немига литературная». Почетный член Союза писателей Беларуси и Союза русскоязычных писателей Болгарии. Название «Поэт Анатолий Аврутин» в 2011 году присвоено звезде в созвездии Рака.

«...Но жизненные органы задеты...
Да и раненья слишком глубоки...»
Своею кровью русские поэты
Оправдывали праведность строки.

А как еще?.. Шептались бы: «Повеса,
Строчил стишки... Не майтесь ерундой...» –
Когда бы Пушкин застрелил Дантеса
У Черной речки, в полдень роковой.

И правда, как?.. Всё было бы иначе...
Попробуйте представить «на чуть-чуть»,
Что Лермонтов всадил свинец горячий
В мартыновскую подленькую грудь.

И дамы восклицали бы: «О, Боже...
Да он – убийца... Слава-то не та...»
Но ведь поэт убийцей быть не может,
Как не бывает грязью чистота.

Любима жизнь... И женщина любима...
В строке спасенья ищет человек...
И Лермонтов опять стреляет мимо...
И снова Пушкин падает на снег...

То ли это судьба... То ли так, по наитью,
Я забрел в этот маленький камерный зал...
Помню женщину в белом... И мальчика Митю,
И оркестрик, что Моцарта тихо играл.

Крепко спал билетер... Никаких декораций.
Прямо в сердце со сцены лилась ворожба.
Мне казалось – вот так Ювенал и Гораций
Тоже звукам внимали, а муза ждала.

Я спешил... И ушел посреди перерыва,
Тихо вышел, прикрыв осторожную дверь.
И вослед мне сквозь окна плыла сиротливо
Эта музыка частых разлук и потерь.

Есть предел... Но есть нечто еще за пределом,
И являются, если с душой не в ладу,
Этот камерный зал... Эта женщина в белом...
Этот стриженный мальчик в десятом ряду.

Среди зловещей тишины –
 Ни Марс, ни Геба –
 Жена и небо мне нужны,
 Жена и небо.

Года спешат по виражу
 Под вспышкой дальней...
 Жене и небу расскажу
 Свой сказ печальный.

Забыв Бодлера и Басё,
 Шепну натужно:
 «Жена и небо – это все,
 Что в жизни нужно...»

Ну а в небесную страну
 Сведет потреба –
 Хочу лишь, Господи, жену
 Увидеть с неба.

Чтоб убедиться, как – боса –
 Бредет по краю.
 И с болью смотрит в небеса...
 Зачем?.. Не знаю...

Четвертый час... Неясная тоска...
 А женщина так близко от виска,
 Что расстояньем кажется дыханье.
 И так уже бессчетно зим и лет –
 Она проснется и проснется свет,
 Сверкнет очами – явится сиянье.

И между нами нет иных преград,
 Лишь только этот сумеречный взгляд,
 Где в двух зрачках испуганное небо.
 А дальше неба некуда идти –
 На небеса ведут нас все пути...
 На тех путях всё истинно и немо.

Погасла лампа... Полная луна
 Ее телесным отсветом полна,
 Ее плечо парит над мирозданьем.
 И я вот этим худеньким плечом
 От боли и наветов защищен,
 Навеки защищен ее дыханьем.

Струятся с неба звездные пучки,
 А нагота сжигает мне зрачки,
 И нет уже ни полночи, ни взгляда.
 Есть только эта шаткая кровать –
 На ней любить, на ней и умирать,
 И между этим паузы не надо...

Август забытой любви

Припомнились стихи «На смерть поэта» ...
 Струилась вдаль изменчивая Лета,
 И по законам Ветхого Завета
 Чужой жены не смел я пожелать.
 Но плечиком светя, она лежала...
 И было нам друг друга мало, мало...
 Давно сбежало на пол одеяло,
 Давно устала дергаться кровать.

На столике оплыл кусочек торта.
 Почти что в голос плакала аорта

О том, что возвращается с курорта
Ее супруг – профессор, голова...
Такого вы оставите? Едва ли:
Загранпоездки, звания, медали...
Мы ж о любви восторженно шептали
Друг другу неправдивые слова.

И каждый странно верил в обещанья:
Еще полгода... Кончатся страданья –
Достаточно короткого признанья,
И враз «оковы тяжкие падут...»
Я знаю – эта строчка не оттуда,
Но все равно я верил в это чудо,
Как верили мы в басни про Бермуды
И как ловили новости с Бермуд.

Вдруг телефон затенькал на комоду,
Она тотчас подпрыгнула: «Володя...»
Набросила халат... На той же ноте
Сказала в трубку: «Жду, взяла отгул...»
И снова на меня оборотилась,
Но понял я – всё страшное случилось!
Как будто время вдруг остановилось...
И галстук сполз со скатерти на стул.

Я форточку рванул – так стало душно.
Ее словам внимая равнодушно,
Я зло ответил: «Понимаю, нужно
Тебе себя в порядок привести.
Ведь завтра обнимать другое тело...
Испортил вечер?.. Ты ведь так хотела.
А с мужем возлежать – святое дело! –
Он завтра будет, кажется, к шести...»

Она меня ударила, конечно,
Ладонью узкой... Было так потешно

Почувствовать ладони этой грешной
Безгрешное касание щеки...
И вспомнились стихи «На смерть поэта»,
Но я уже рассказывал про это.
Кончалось неудавшееся лето,
И наши души были далеки.

Смотрю женатыми глазами,
Как у тебя вдовеет взгляд...
Мы сняли кольца... Между нами
Одни сомнения парят.

Слегка приглушен звук... Россини
Нам обнажает соть и суть.
Да лучик солнца апельсинит
Нагие плечики и грудь...

Еще и простыни не смяты,
Еще и плоть не обожгла...
– А как до этого жила ты?..
– Как я жила?.. Я не жила...

И всё... Гудок сиренозвукий,
Кивок – уже издалика...
Остались музыка и руки,
А дальше – память коротка...

Веранда. Полдень. Дождь отвесный.
На всем – напрасности печать.
И мне совсем не интересно
От женщин письма получать.

Хотя лежит на стуле венском,
 Не раз прочитано, не два,
 Письмо, где крупный почерк женский,
 Где очень грешные слова.

Грешил... Грешу... И словом грешным
 Меня случайно не пронять.
 Но этот голос безутешный
 Мне вдруг почудился опять.

Как не поверить этой муке,
 Не отозваться, не дерзнуть?
 А эти скрещенные руки,
 Напрасно прячущие грудь...

А этот ворот, ставший тесным,
 Ладонь, где жилки – на просвет?
 Веранда... Полдень... Дождь отвесный...
 И этим письмам – тридцать лет...

Научусь любить издалека –
 Чтобы Он не знал, жена не знала...
 Чтобы непослушная рука
 Непослушных строчек не писала.

Чтоб друг друга еле узнавать
 В пыльной суете библиотеки,
 Чтобы осторожности печать
 Пятаком придавливала веки.

Чтобы и странички – не подряд,
 Не подряд – снежинок ликованье.
 Чтоб не выдал жест, не выдал взгляд,
 Чтобы вдруг не выдало дыханье...

Научусь... Пусть воют провода,
 Воет ночь, безлюбие в угоду.
 И летит угрюмая звезда –
 Снизу вверх летит по небосводу...

Может быть, года тому виною –
 Кто-то помнит слово или взгляд,
 Только мне запомнилось иное –
 Как по строчкам пальчики скользят.

Как глядела, чуточку с прищуром,
 Женщина... В зрачках – и боль, и страх.
 Как изящный ногтик с маникюром
 Отчеркнул две строчки на полях...

Я вчера нашел тот старый томик
 На забытой полке, среди книг.
 Те года, любовь, безлюдье в доме,
 Женщина – припомнились на миг.

Я ей локон гладил осторожно,
 А она шептала горячей:
 «Здесь же Анна Снегина... Как можно
 Предаваться нежностям при ней?..»

Старый томик... Судьбы, лица, строки.
 С этим всем попробуй-ка уснуть...
 Полумрак... Есенинские строки,
 Ногтиком отчеркнутая суть...

Вениамин АГЕЕВ

Перт

ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА АРИФМЕТИКИ

I

Я оказался в тот день в Заречье совершенно случайно, возвращаясь на работу после встречи с клиентами. Помнится, у меня было в тот день прекрасное настроение. Уходящее солнце освещало кроны деревьев на крутом правобережье, наступал тёплый вечер, насыщенный ароматами начала осени. Пахло прелой травой, водорослями с речной отмели и чем-то ещё, неуловимым, но очень приятным – не исключено, что это был запах духов едущего рядом со мной молодого специалиста, которого в порядке наставничества и по поручению шефа я брал с собой на совещание. А может, и не духов. Может быть, это был запах озона, сопровождающий, как известно, электростатические разряды. За несколько недель пребывания в отделе молодой специалист, которого звали Аэлитой Шабалиной, успел проявить себя как существо несколько вздорное, но забавное и симпатичное – под стать необычному имени. А проявляемая Аэлитой склонность цепляться ко мне и по малейшему поводу вступать в пререкания и отвлечённые философские споры смутно свидетельствовала о существовании некоего внеслужебного интереса – тщательно скрываемого, но от того ещё более отрадного. В связи с этим на заднем сиденье, где мы продолжали начатый ещё с утра разговор о погрешностях измерений, ощущалась высоковольтная атмосфера смеси афинского ликея и лёгкого служебного флирта, тем более что мы уже перешли от частного понятия измерений к более общим жизненным установкам погрешностей и прегрешений, вольных и невольных. Как говорится, ничто не предвещало. Но водитель Николай Филиппович Пилипенко, вместе с машиной

приданный отделу для поездок по заводам заказчиков, неожиданно решил сократить путь через бездорожье и, тщательно выбирая наиболее ровные места, ухитрился засесть по самое брюхо на песчаном участке пустырей. Вначале, когда ситуация ещё не была критической, Николай Филиппович проигнорировал моё предложение стравить воздух из шин, чтобы на более широкой опорной площади осторожно выползти на более твёрдую почву, а уж там заново подкачать колёса, чтобы ехать дальше. Пренебрежительно махнув рукой, он, нещадно газуя, продолжал раскачивать машину до тех пор, пока не осталось ни малейшей надежды вытащить её без помощи тягача. Затем изо всех сил ударил обеими ладонями по рулю и начал ставить нам задачи. Мне – пойти «на трассу», чтобы остановить какой-нибудь трактор или грузовик и, посулив бутылку, мобилизовать на спасение увязшей в зыбучих песках колымаги. А Аэлите – срочно искать телефон-автомат, звонить секретарше кадровика Федяшкина и просить передать ему, что мы застряли на грунтовом участке дороги и что он не сможет отвезти Федяшкина на вокзал, как было ранее договорено. Особый упор был сделан на то, что нужно говорить непременно с секретаршей, а не с самим кадровиком – дескать, не стоит беспокоить такого занятого человека по пустякам. Даже Аэлите было понятно, что все эти нарочитые заочные расшаркивания и ссылки на занятость шиты белыми нитками – вероятнее всего, кадровик, как то обычно происходило в конце рабочего дня, гонял чай в бухгалтерии. Просто Николаю Филипповичу не хотелось вдаваться в детали. В отличие от секретарши, Федяшкин наверняка стал бы задавать ненужные вопросы о нашем плачевном положении. Чтобы внести ясность, следует сказать несколько слов о Николае Филипповиче, потому что полученные нами руководящие указания попали, как говорится, на старые дрожжи. Если вы можете представить себе немолодого и неопрятного мужчину с навсегда застывшей на лице недовольной миной, то такой образ достаточно точно отразит сущность, а детали уже не имеют значения. По свиде-

тельству старожилы нашей конторы, брюзгливое выражение установилось в тот год, когда тресту выделили волгу представительского класса, а ранее возивший директора Николай Филиппович вместе с утратившей лоск прежней машиной был приставлен к конструкторскому отделу. Ситуация усугублялась не только тем, что Николай Филиппович до последнего дня хвастал на каждом углу, что скоро переседет на волгу, но ещё и тем, что новым личным шофёром стал молодой, только что из армии, безусый паренёк, между прочим, однофамилец главного инженера. На это особенно напирал безутешный Пилипенко – дескать, просто так, за красивые глаза, никто, кроме потенциального самоубийцы, не станет доверять руль неопытному сопляку. Впрочем, злые языки утверждали, что причиной удаления Николая Филипповича была его же собственная болтливость, а вовсе не мнимые родственные связи конкурента. Во время регулярных хозяйственных поездок по магазинам с директорской женой он имел неосторожность сообщать ей всякие ненужные подробности о том когда, куда, с кем и надолго ли ездил её супруг в предыдущий отчётный период. Для завершённости замечу, что ко всем мужчинам, не занятым в сфере физического труда, Николай Филиппович питал бесконечное презрение. Это было довольно необъяснимо, учитывая то, что, поскольку трест имел собственные ремонтные мастерские, к автомобильной матчасти Пилипенко не имел ни малейшего касательства, а крутить баранку легкой машины – невелика доблесть. И вот теперь этот бездарный извозчик, предварительно утопив в песках свою колымагу, начальственным тоном отдавал нам приказы. Попытка водителя разыграть большого босса мне категорически не понравилась, поэтому я несколько резко ответил, что будет намного лучше, если он сам позаботится о буксире, а мы с Аэлитой доберёмся до места на общественном транспорте или на попутке.

– А если с машиной за это время что-то случится, – довольно злобно отреагировал Николай Филиппович, – ты будешь отвечать???

– Пошли, Аэлита.

Я нарочно проигнорировал бессмысленный риторический вопрос водителя – просто молча протянул руку всё сидящей на заднем сиденье девушке, чтобы помочь ей выйти, но тут она совершенно некстати решила проявить вздорное сочувствие.

– Ладно, Филиппыч, – примирительно сказала Аэлита, – давай я возле машины побуду, а ты на трассу сходишь. А Виктор Львович пусть идёт. Ты не обижайся на него, просто у него срочное дело, он не может задерживаться.

После этого мне ничего не оставалось, как уйти. Настроение было испорчено. За то время, что я вышагивал по пустырю к ближайшей асфальтовой дороге, в туфли непонятным образом набился песок, хоть я вроде бы и не сильно погружался в грунт. А штанины и носки нацепляли острых колосков какого-то злакового сорняка – уж не знаю, как он называется, но обильно произрастает даже в безводных местах. Случилось так, что я возвратился к цивилизации как раз напротив детского сада и довольно полинявшей, как и всё в Заречье, игровой площадки, где виднелись фигурки нескольких детей, сплошь девчонок, и старушек. Да ещё на скамейке, расположенной чуть поодаль, но примыкающей к площадке, ссутулившись, читал книгу какой-то мужчина. Некоторое время я вытряхивал песок, приводил свой костюм в презентабельный вид и размышлял, в каком направлении мне двигаться дальше. Не забывая при этом ворчать вполголоса о том, какой скотиной оказался Филиппыч и, главное, как жестоко обманула мои ожидания Аэлита. Надо сказать, что я надеялся провести остаток дня в её обществе, правда, ещё не придумал, где именно и как. Поначалу хотел было позвать Аэлиту в «Пионер» на фестиваль повторного кино, тем более что там показывали «Двоих в городе» – один из тех старых фильмов, которые мне всегда хотелось увидеть. Но потом мысль о кино стала казаться слишком тривиальной и детской, не в последнюю очередь из-за того, что обшарпанный «Пионер» был не самым презентабельным кинотеатром. Затем я подумал о ресторане,

но, прикинув, сколько это будет стоить, понял, что на приличный ресторан у меня вряд ли достанет денег. Дело было перед зарплатой, а накануне я оставил целое состояние в букинистическом магазине, приобретя альбом репродукций Дали. Между прочим, тоже не без мысли об Аэлите, потому что она намекала, что намеревается в скором времени пригласить сослуживцев на именины, а альбом мог стать замечательным подарком. Я даже тешил себя тщеславной мыслью, что Аэлита затевает праздник ради меня, если не на сто процентов, то, по крайней мере, по большей части. Заранее же оговаривать расходы в ресторане и ограничивать их какими-то рамками было бы глупо, да и выставило бы меня не в лучшем свете. В любом случае, теперь все сомнения были уже позади, поскольку надежде на совместное времяпрепровождение не суждено было осуществиться. В последний раз хлопнув ладонью по штанине и чертыхнувшись, я наконец выполз на гаревое покрытие площадки – как раз тогда, когда одна из девочек подбежала к сидящему на лавке мужчине. Он нехотя оторвался от книги и, повернув лицо, начал ей что-то отвечать, блуждая глазами по пустырю. В этот момент наши взгляды встретились, и я узнал в сутулом мужчине Фёдора.

С Федей Достоевским мы были однокурсниками и земляками и поэтому, уезжая домой на каникулы, иногда покупали билеты друг для друга в аэрофлотовских кассах подземного перехода возле Курского вокзала – до них было ближе всего от корпуса института – и летели одним рейсом. Ну а уж если путешествовали вместе, то встречающие меня брат или отец неизменно подвозили Федю к дому. Семья Достоевских обитала совсем близко от центра, но не в районе многоэтажных застроек, а на одном из сохранившихся островков частного сектора, неофициально именуемом Заречьем. Нужно было проехать около двух километров по периметру старого кладбища, потом свернуть к реке и, мимо тянувшихся с обеих сторон незаконно разгороженных пустырей, приспособленных под огороды, нырнуть под эстакаду моста и вырुлить прямё-

хонько к солидному деревянному зданию с мезонином и даже с резными ставнями на окнах, что в наших степных краях большая редкость. Здесь, если речь идёт об индивидуальной застройке, чаще в ходу саман, ну, бывает, что обожжённый кирпич, хотя в саманных домах летом прохладнее. А ставни на окнах до тех пор мне встречались только в отдалённых предгорных деревнях, где ещё сохранился до некоторой степени характер столыпинских поселений, хотя, разумеется, старых строений, как таковых, уже не осталось. Вплоть до второго курса я не был знаком ни с кем из Фединых родных и даже ни разу не видел их – Федя, выходя, махал нам на прощание рукой и лишь после того, как машина отъезжала, направлялся к массивным воротам с врезанной в них калиткой, поскольку у дома не было парадной двери, выходящей непосредственно на улицу. Совершенно бессознательно и лишь по косвенным признакам у меня отчего-то складывалось впечатление, что Достоевские довольствуются общественным транспортом, пока я не увидел однажды из окна Феединой комнаты, как перед его родителем угодливо распахивает дверцу служебного автомобиля молодцеватый личный шофёр с холуйской выправкой. Правда, это произошло позже, а к тому времени я успел пару раз побывать у Феде в гостях, познакомился с его родителями и, вообще, ощутил атмосферу дома, так что ни автомобиль, ни шофёр никакого удивления у меня уже не вызвали. Знаете, иногда бывает, что какие-то ложные, но глубоко укоренившиеся представления задерживаются надолго, если не навсегда, несмотря на их очевидную неуместность, – просто оттого что никак не предоставляется случая для опровержения. Наподобие скрытых пятен другого цвета на перекрашенной стене. Если случайно не заглянешь за шкаф, который стоял здесь ещё до ремонта, и который нерадивые маляры просто не удосужились отодвинуть, то никогда и не узнаешь. Точно так же у меня поначалу было совершенно ложное мнение об уровне обеспеченности Достоевских, правда, на сей раз я хорошо помнил происшествие, которым это заблуждение было изначально

сформировано – подвыпивший Федя прожёт сигаретой рукав своей пиджачной пары. Это произошло на одной из первых вечеринок, где мы оказались вместе, если даже не на самой первой. Может, ещё и поэтому незначительный, в сущности, эпизод так отпечатался у меня в памяти. Федя был настолько расстроен и напуган, бесконечно повторяя, что отец его теперь убьёт, что у любого непредвзятого свидетеля должно было возникнуть ощущение невосполнимости именно денежной потери. К тому же сама по себе пиджачная пара, при полном отсутствии у Фёдора какой бы то ни было модной одежды, как бы намекала на это. Ко времени моей институтской учёбы некогда популярный классический стиль успел стать атрибутикой свадеб и похорон, а Федя, щеголявший на лекциях и семинарах в своём строгом тёмно-синем костюме на вырост, немного напоминал колхозника, приехавшего в город на праздник урожая для награждения почётной грамотой. На самом деле, как выяснилось чуть позже, Федя отнюдь не бедствовал. Родители регулярно присылали ему весьма щедрые субсидии, и вкупе со стипендией Федин месячный бюджет составлял едва ли не больше зарплаты начинающего инженера после окончания нашего вуза. Правда, здесь стоит заметить, что Федя, будучи не самым радивым студентом, получал стипендию не всегда. Во всяком случае, проблема состояла, конечно, не в денежной потере, а в том, что Михаил Фёдорович, отец моего товарища, отличался гневливым характером и держал своего единственного отпрыска в благоговейном страхе. Михаил Фёдорович был так называемым «выдвиженцем», то есть, простым рабочим, некогда назначенным по партийной линии на ответственный пост. С тех пор он вполне успешно делал карьеру на поприще хозяйственного управления, в очередной раз подтверждая поговорку, что не боги горшки обжигают. В описываемый период он был заведующим торговой базой, и – как это будет понятно любому жившему в советскую эпоху человеку – по определению не мог испытывать недостатка в материальных благах. Судя по некоторым Фединым вы-

сказываниям, с сильными мира сего его папаша поддерживал добрые отношения, посылая им щедрые подарки к семейным и государственным праздникам, однако и себя не обижал – хотя ныне, на фоне тотального разворовывания казённого имущества, его можно считать чуть ли не аскетом. Но в то же время у Михаила Фёдоровича было собственное, очень жёсткое понимание о тяжести того или иного проступка и о дозволенности или недозволенности того или иного действия, так что, в известном смысле, он был человеком с устоями. Все мы, наверное, в той или иной степени, носим отпечаток детских лет. Я рано потерял обоих родителей и лишь после их смерти стал постигать степень влияния, которое они на меня оказали, и приходиться к заключению о том, как она высока. Мне и поныне нередко приходят на память какие-то моменты из, казалось бы, прочно забытого прошлого – вроде бы ни с того ни с сего, и даже не сами по себе, а в свете унаследованных личностных черт. Причём далеко не всегда таких черт, которыми можно гордиться. Но речь здесь не обо мне, а о Феде – я ещё в юности подмечал в нём причудливые сплетения каких-то, казалось бы, взаимоисключающих наклонностей, тех самых, которые, будучи взятыми по отдельности, столь органично вписывались в образы его отца и матери. Даже статью он был каким-то кентавром, потому что при тяжеловатых плечах и голове обладал определённой грацией, пусть и нескладной. Вот в этих-то хитросплетениях характера, наверное, и крылась причина странной ситуации, о скрытых пружинах которой я отчасти уже давно догадывался, будучи до некоторой степени её свидетелем и действующим лицом, отчасти что-то слышал от общих друзей, а в конце концов получил недостающие куски головоломки от самого Феде. Но я, конечно, ни на минуту не мог бы себе представить, к какому невероятному повороту эта ситуация приведёт.

К добру или к худу, но в последние полтора года учёбы мы с Фёдором уже почти не общались. А, окончив институт, и вовсе потеряли друг друга из виду на целых четыре года. Впро-

чем, «потеряли» – это, пожалуй, не совсем верно. Мир, как известно, тесен, особенно если речь идёт о полумиллионном провинциальном городе. Уж не знаю, насколько Федя был осведомлён о моих делах, но я о нём кое-что знал из разговоров с общими знакомыми, которых, на круг, было не так уж и мало, учитывая, что мы работали в одной сфере. Правда, сведения не шли дальше нескольких случайных отрывочных фраз и вскользь упомянутых событий, а поинтересоваться более мелкими деталями мне не приходило в голову. Тем не менее, я слышал, что Федя по-прежнему холост, что мать его умерла чуть ли не в тот год, когда мы закончили учёбу. А вдовый отец, будучи к тому времени пенсионером, уехал к себе на родину, в маленький районный городок, откуда его в своё время выдвинули на партийную работу. Ещё, помнится, кто-то из муниципальных работников рассказывал, будто все дома между кладбищем и речкой собирались пустить под снос, чтобы на освободившемся месте построить стадион, но потом там что-то застопорилось. Однако, поскольку горархитектура уже коснулась этого района своим ядовитым поцелуем, местные обитатели больше не спешили делать ремонты и красить изгороди. Да и продать свою недвижимость они теперь могли либо за гроши, либо, покривив душой, всучить её какому-нибудь несведущему человеку, а на подобную подлость тоже не каждый способен. Ведь заранее ясно, что такой покупатель обречён потерять в деньгах – как известно, не стоит рассчитывать на щедрость властей при компенсации, когда дома идут под снос. Вот поэтому, когда мне довелось снова побывать в Заречье, там повсеместно были заметны признаки запустения.

Самое неприятное заключалось в том, что и он узнал меня. Не оставалось ничего другого, как подойти и поздороваться. Девочка тем временем умчалась к стайке своих подруг, и я почти не видел лица, только и успел заметить волосы цвета льна, заплетённые в две тугие косички, да коротковатое голубое платье. Против ожидания, Достоевский, казалось, был рад

нашей встрече. Он даже привстал, обняв меня за плечи. Потом мы сели рядом и несколько минут обменивались ничего не значащими фразами. Не в том смысле, что бессодержательными, а в том, что они не представляли интереса ни для вопрошающего, ни для отвечающего – где ты, что ты, доволен ли зарплатой, имеются ли перспективы. Может, кому-то это любопытно, но не мне, да и Федя слушал меня вполуха. Правда, через несколько минут, оправившись от первой неловкости, мы перешли к более личным и занимательным темам. Между прочим, оказалось, что отец Фёдора все эти годы регулярно справлялся обо мне и передавал приветы. Это было неожиданно, потому что мне всегда казалось, что Михаил Фёдорович меня не слишком жаловал. На ответную просьбу кланяться отцу Федя сухо рассмеялся и сказал, что и так это регулярно делает – он полагал, что я вряд ли буду против. Я, видимо, посмотрел непонимающе, потому что Фёдор пустился в объяснения – дескать, не хотел рассказывать, из-за чего мы поссорились. Отец бы меня осудил, а сам Федя не считает, что я так уж виноват. Пусть думает, что мы по-прежнему друзья. Я кивнул – ну да, пусть думает. Однако не согласился со словом «поссорились» – лично ко мне это слово было не применимо, я с Феей отнюдь не ссорился. Достоевский, хмыкнув, посмотрел на меня чуть ли не иронично, что было для него крайне нехарактерно, но больше ничего не успел сказать, потому что тут к скамейке снова подбежала девочка. Теперь она стояла совсем близко от меня, и черты её лица показались мне смутно знакомыми.

– Папа, – обратилась она к Фёдору. – Папа, а можно я пойду к Регине, поиграю с ней немножко? А потом меня её бабушка приведёт домой. Можно, пап?

– Что? – изумлённо произнёс я. – Папа? В каком смысле?

– Иди, конечно, Лизонька, поиграй. Только не слишком долго, мы скоро будем кушать.

Мягкость голоса резко контрастировала с грубоватым лицом Достоевского, и даже это смешно прозвучавшее детское

слово «кушать» удивительно не подходило к его облику. Даже, наверное, не к внешнему облику, как таковому, а к тому стереотипу, который установился за несколько лет нашего общения. Девочка, крикнув на ходу «Спасибо, пап!», уже удалялась, а я всё ещё непонимающе смотрел ей вслед.

– Ты это... – помолчал, произнёс Федя, – ты не удивляйся, я тебе расскажу...

– Дочь? У тебя дочь? Но ведь ей лет шесть на вид, ну, может, пять... Как же? Мы же в ту пору виделись каждый день... А я, выходит, ничего не знал? Как это? Ну ты даёшь! Постой! Так это что, ты тогда всё же решился на женитьбу? Не ожидал от тебя...

– Нет, нет. Всё не то. На Ире я так и не женился, она здесь совершенно ни при чём. Я даже благодарен родителям, что они меня тогда отговорили. Ира полтора года назад была здесь проездом, я с ней встречался, и мы неплохо пообщались. Она, кстати, всё-таки вышла замуж за Смагина, хотя и двумя годами позже. А вот с Надей мы так и не помирились. Ну, то есть, она по-прежнему ведёт себя враждебно. До сих пор отводит взгляд, если я случайно встречаю её на улице. Но это всё не то, я не то хотел сказать, к Лизе это не имеет отношения. Потом. Я потом объясню. А ты? Виделся с кем-нибудь из однокашников?

– Только с Лёней. Заезжал к нему год назад, когда отдыхал на море. А больше нет, ни с кем. Правда, я со многими переписываюсь. И с Серёгой, и с другими парнями из нашего блока. Не очень активно, но тремя-четырьмя письмами в год мы обмениваемся.

– А помнишь Таню?

– Помню, конечно. И что Таня?

Ещё бы я не помнил Таню! Хотя фамилия и не была названа, я прекрасно знал, о ком зашла речь. Ведь как раз из-за истории с этой Таней Фёдор перестал со мной разговаривать. Вернее, не совсем так. Трудно вообще перестать общаться, когда живёшь в тесном соседстве, а мы с Достоевским жили хотя

и в разных комнатах, но в одном блоке студенческого общежития – две смежные малогабаритки с общим санузелом. Так что иногда поневоле приходилось обмениваться информацией. Но кроме односложных служебных фраз Федя ни разу не сказал мне ни слова. С тех самых пор.

Мне не слишком хотелось говорить о Тане, мне было бы интереснее узнать, каким образом у Достоевского ни с того ни с сего вдруг появилась шестилетняя дочь, но тут, как в классической комедии положений, диспозиция вновь неожиданно изменилась. Из зарослей репейника, почти как богиня из пены морской, появился мой подопечный молодой специалист, пугая старушек озабоченным чумазым лицом и блуждающим взором. Правда, озабоченность тут же трансформировалась в улыбку, как только Аэлита увидела меня. Всё же она поостереглась подходить ближе, лишь помахала, обозначив своё присутствие, и даже мой приглашающий жест не сразу вывел её из оцепенения. В конце концов Аэлита, стыдливо спрятав за спину грязные руки, но не подозревая о двух широких чёрных полосах на правой щеке, шагнула к нам и поздоровалась с Фёдей.

– Фёдор, – тут же представился он и протянул ей руку.

– Аэлита, – выдохнула моя сослуживица, тоже протянув к Феде ладонь, а затем отдернув её. – У меня пальцы в смазке.

– Что, двигатель перебирали с Филипычем?

Всё ещё обиженный, я задал свой вопрос небрежно-грубоватым тоном, но Аэлита не уловила сарказма и ответила безоруживающе спокойно и кротко.

– Нет, я трос накидывала, а он весь в солидоле.

– А Филипыч?

– Ну ему же рулить нужно было, он в машине сидел.

– Вот скотина!

– Да ладно. Не сердись на него. Ну что поделаешь – убогий он.

– И что, не вытянули репку?

– Вытянули.

– Что ж ты с ним не уехала?

Прежде чем ответить, Аэлита посмотрела на меня, потом на Федю, потом снова на меня.

– Так, пройтись захотелось...

– У тебя и лицо в смазке. Давай-ка я вытру.

Я вытащил из кармана носовой платок. Девушка шархнулась было в сторону, но потом послушно подставила лицо и даже благодарно улыбнулась. Внезапно я ощутил раздвоенность. Ещё полчаса назад мне не пришло бы в голову отказаться от вечера с Аэлитой. Теперь же любопытство взяло верх. Взбудораженный загадочной историей с дочерью Достоевского, я был почти готов пожертвовать компанией девушки ради того, чтобы узнать Федин секрет. И в то же время я осознал, что делать этого нельзя.

– А пойдёте ко мне, – вдруг предложил Федя, разрешив мои сомнения, но в самой неудачной форме. – Пойдёмте. У меня есть вафельный торт. Аэлита, вы любите вафельный торт?

– Люблю.

– Ну вот и замечательно.

II

Было немного странно вновь оказаться в этом доме. Если уж говорить о первом, спустя несколько лет, впечатлении от самого Феде, то его внешний вид не отличался изысканностью. Если раньше у него порой проявлялись некоторые нотки артистичности и даже изящества, несомненно, унаследованные от матери, то в нынешнюю встречу на скамейке Достоевский показался мне неухоженным и даже подопустившимся. Отчасти, наверное, из-за того, что на его поношенной курточке не хватало пуговицы. Однако старый дом был хоть и обветшавшим, но по-прежнему чистым и уютным, – наперекор моему предчувствию, поскольку впечатление о Феде каким-то образом заранее перенеслось и на весь его окружа-

ющий быт. Впрочем, даже в самом Достоевском перемены не были так уж однозначны. Например, на смену его прежней суетливости пришло какое-то спокойное достоинство, и мне это понравилось. Ещё мне понравилось то, что он сказал, что я перед ним не виноват – значит, Фёдор наконец осознал, что ему не за что на меня обижаться. Я за собой серьёзной вины никогда и не признавал, но всё-таки Федина неприязнь меня тяготила. Быть может, оттого мне и не хотелось с ним видеться после окончания учёбы, хотя для встреч существовало много возможностей. Теперь он сам делал первый шаг навстречу, и было бы неблагодарностью отвергнуть его великодушное предложение. А с другой стороны, в манерах нынешнего Фёдора появилась какая-то причудливая благость, которая ощущалась как нечто привнесённое извне. Как если бы он следовал не собственным побуждениям, а руководствовался абстрактным сводом правил или катехизисом, решая, как нужно поступать в той или иной ситуации. Я, помнится, подумал, что, если бы Федю переодеть в соответствующую одежду, то он, несмотря на внешнее несходство, стал бы похож на кришнаита Николая – знакомого книгоношу, который иногда забредал в нашу контору с предложениями купить букинистические издания, и при этом совершенно бесплатно раздавал «духовную», как он выражался, литературу. Но в Феде эта нарочитая сусальность производила, скорее, отталкивающее впечатление.

В гостиной дома Достоевских по-прежнему высились застеклённые стеллажи с книгами, но, похоже, никаких новых приобретений там не появилось. Я вспомнил, как Анна Ивановна, Федеина мать, оживлённо жестикулируя, показывала мне только что купленные книги, когда я заходил к Феде в гости. В основном, это были книги по искусству, поэзия, какие-то мемуары и, как ни сложно в это поверить, фантастика. Впрочем, приобретались и солидные собрания сочинений, но ими она не хвасталась; они всего лишь выстраивались молчаливыми шеренгами на полки, и, честно говоря, не знаю, часто

ли оттуда извлекались. В течение двух лет во время своих студенческих каникул я бывал у Достоевских довольно регулярно, пожалуй, не реже раза в неделю, и почти всегда Анна Ивановна перехватывала меня у порога, либо гордо демонстрируя какой-нибудь свежий том, либо вовлекая в очередную дискуссию о литературе. В тот период я увлекался Стругацкими, а Фебина мать была поклонницей Брэдбери, так что нам было о чём поговорить. Я говорю «почти всегда» по той причине, что нрав у Анны Ивановны был не то чтобы крут, но не слишком ровен. Иной раз она не снисходила ко мне, поспешно закрывая дверь в свою комнату, едва я появлялся на пороге дома. Либо и вовсе не удостоивала приветствием, даже столкнувшись лицом к лицу в кухне, где Федя потчевал меня цейлонским чаем с диковинными сладостями, не иначе как доставленными непосредственно с торговой базы, потому что в магазинах мне не приходилось видеть подобных лакомств. Словом, Анна Ивановна была человеком хотя и безобидным, но своеобразным, и я помню, что в первый раз меня взяла оторопь от такого обращения. Это произошло ранним вечером на площади перед драматическим театром. Непосредственно перед тем я навещал свою одноклассницу и, выйдя из подъезда, направлялся на автобусную остановку, когда увидел Федину мать на противоположной стороне улицы. Скорее всего, я не стал бы к ней приближаться, если бы мне не показалось, что она тоже меня заметила, ну а раз так, то вроде бы нужно было её поприветствовать – хотя бы из элементарной вежливости. Но, против ожидания, Анна Ивановна не только не пожелала со мной поздороваться, но и, скосив глаза в сторону, круто повернулась и пошла куда-то вбок, держа курс на клумбу с цветами. У меня хватило ума не последовать вслед за ней, но происшествие оставило неприятный осадок. Впрочем, через несколько месяцев это ощущение сгладилось, как сгладилось и моё удивление от тогдашнего необычного наряда Анны Ивановны и огромных, на пол-лица тёмных очков. Дело в том, что немного позже странности Фединой матери в какой-то сте-

пени получили объяснение. Хотя это и не перевело их в категорию рациональных поступков, но позволило относиться к ним с большей снисходительностью. Другой странностью из примерно того же ряда была пугающая резкость высказываний учтивой и даже, можно сказать, рафинированной Анны Ивановны в том, что касалось её отношений с Фединым отцом. Много позже – уже после её смерти – мне довелось читать статью о маниакально-депрессивном психозе писателя Гаршина, и кое-какие параллели заставили меня подозревать, что Анна Ивановна могла страдать от этого недуга. Впрочем, я не психиатр, а человеческая голова, как известно, – дело тёмное. Как бы то ни было, но Фебина мать иногда заговорщически жаловалась мне на «этого мужлана», как она называла в сердцах Михаила Фёдоровича, за недостаток чуткости. Однажды, когда я, не застав Феде дома, собирался тут же откланяться, Анна Ивановна, взяв меня за руку, усадила в кухне на жёсткую табуретку и, то плача, то вновь успокаиваясь, несколько часов рассказывала о своей загубленной, как она выразилась, творческой стезе. Именно это ощущение загубленности и нереализованности заставляло её скрывать свои походы в театр как что-то постыдное, ведь она помнила о своём былом триумфе. И при этом не хотела случайно встретить каких-нибудь свидетелей этого триумфа, потому что у неё было чувство, что некогда она обещала им гораздо больше, чем смогла дать. С тех пор моё отношение к Фединой матери изменилось, причём, с одной стороны, стало как будто более доверительным, а, с другой, привнесло неловкость. Видимо, это происходило от подспудного ощущения, что она сожалеет о своей откровенности. Кроме того, Анна Ивановна, вообще говоря, была человеком замкнутым и несколько высокомерным, и я прекрасно осознавал, что только эта замкнутость да отсутствие близких подруг заставили её обратиться ко мне со своей исповедью. Несмотря на то, что повествование Анны Ивановны не отличалось краткостью, суть сказанного можно передать в нескольких словах, а сама по себе история, как мне кажется, стоит того,

чтобы её упомянуть, потому что она проливает какой-то свет и на особенности Фединога характера.

Анна Ивановна переехала в наш город из своей родной Москвы по приглашению главного режиссёра областного драматического театра. В ту пору она была уже не начинающей, но всё же очень молодой и очень заметной восходящей звездой столичной сцены, и то, что она решилась на подобный шаг, конечно же, многое говорит о её карьерных устремлениях и надеждах. Признаться, когда на меня обрушился поток жалоб, я выслушивал их не без недоверия: все мы люди, и склонны преуменьшать свои недостатки и преувеличивать успехи и достоинства. Но впоследствии мне довелось видеть письма и вырезки из газет и журналов, которые Анна Ивановна хранила в объёмистой деревянной шкатулке, – с рецензиями критиков, с признаниями в любви, с восторженными отзывами поклонников. Федина мать, без сомнения, была если и не великой, то выдающейся актрисой. Главреж не обманул её ожиданий. Она стала примой драматического театра, который, благодаря ей, тоже расцвёл на волне её популярности и получал рекордные сборы. Люди стояли в очередях за билетами, люди специально приезжали в наш город, чтобы увидеть её на сцене и прикоснуться к празднику, который она несла в себе и с собой. Она сама была частью этого долгого праздника, пока он однажды не закончился, и закончился он, как это ни печально, по её собственному выбору. Хотя бы чисто формально, но это было именно так.

Михаил Фёдорович впервые увидел Анечку, когда как-то раз на совещании областного партхозактива участникам выдали билеты для коллективного просмотра модной пьесы «В поисках радости», – так состоялся второй в его жизни поход в театр. Но с того дня он был в курсе всех театральных новинок, не пропускал ни одной премьеры, ходил по нескольку раз на один и тот же спектакль. Сказать, что в последующие десять месяцев он лишь молча страдал и мечтал о личном знакомстве с актрисой было бы неправдой – не таким человеком был

старший Достоевский. Нет, он просто ещё не был готов к решительному шагу. А когда окончательно созрел, то в один прекрасный день, после представления, заявился к ней в гримёрку с обручальным кольцом и цветами – с тем, чтобы «предложить руку и сердце». Именно в этих старомодных словах. Что подвигнуло Анечку согласиться, трудно сказать. Тем более что и она сама много лет спустя говорила, что не понимает, как могла быть такой душой. Как бы то ни было, но она приняла предложение и через два с половиной месяца стала женой Михаила Фёдоровича. А потом произошла первая карьерная неприятность – несмотря на все меры предосторожности, Анна Ивановна забеременела. И хотя её отсутствие на сцене было очень кратким, в театре что-то изменилось. Кроме того, маленький Федя оказался не самым спокойным ребёнком, часто болел, и она приходила на работу усталой и раздражительной. Но главный режиссёр к ней по-прежнему благоволил, и мало-помалу к Анечке вернулось ощущение праздника, который жил в ней, и который она несла другим. И тут случилась вторая неприятность. В город приехал высокий партийный чин из столицы. Михаилу Фёдоровичу поручили обеспечить почётному гостю «достойный приём», начиная от встречи в аэропорту в понедельник и заканчивая прощальной пятничной поездкой в загородный пансионат – с рыбалкой, до которой, по наведённым заранее справкам, чин был охоч, и с русской банькой, куда был приглашён только узкий круг доверенных лиц. Там-то, в баньке, и произошёл разговор, который едва не закончился мордобоем и положил конец артистической карьере Анны Ивановны. Накануне партийный чин посетил спектакль «Валентин и Валентина», а во время застолья после парилки отпустил несколько комментариев по поводу внешности актрисы, сыгравшей роль Валентины, – комментариев не слишком непристойных, но уже на грани. Сидящий рядом второй секретарь зашептал ему на ухо, что прима, хотя и носит другую фамилию, – жена присутствующего здесь же Достоевского, но гостя это не только не остановило, а даже, ка-

залось, раззадорило. Он стал пространно рассказывать о том, что в большинстве театров распределение актрис по главным и второстепенным ролям происходит на диване режиссёра и что эта традиция ведётся ещё со времён великого Станиславского, после чего поинтересовался у Михаила Фёдоровича, как он мирится с таким положением. Достоевский, сжав кулаки, рванулся к гостю, но сила была не на его стороне. Несколько человек разом повисли на нём и выволокли во двор. Туда же вскоре вышел второй секретарь с тем, чтобы уговаривать Михаила Фёдоровича, – дескать, не стоит придавать значения словам пьяного человека, а нужно успокоиться и ехать к себе.

Достоевский так и сделал. Приехав домой, он сразу прошёл в кабинет, где и оставался почти безвыходно больше суток, а около полудня в воскресенье, незадолго до того, как жена должна была идти на репетицию, выложил ей свой ультиматум: либо она немедленно увольняется из театра, либо они подадут на развод. Почему Анна Ивановна согласилась, для меня осталось загадкой. Да, наверное, какую-то роль в этом решении сыграл материальный достаток, обеспечиваемый Михаилом Фёдоровичем, и идеальная налаженность быта. Но я допускаю и другое. Ведь, в сущности, она подтвердила свой предыдущий выбор. И пусть даже Михаил Фёдорович был «мужланом» и «колхозником», наверное, в чём-то он выгодно отличался от богемной среды, в которой вращалась молодая актриса. Кроме того, ни тупым, ни подлым он не был. А если его и нельзя было назвать интеллектуалом, то... Я давно замечал, что, в отличие от интеллектуалов, недалёкие люди сочетают ограниченность ума с твёрдостью убеждений и зачастую бывают самыми преданными.

III

Расставшись с театром, Анечка около десяти лет вела почти затворническую жизнь и именно этот период оказал ре-

шающее влияние как на формирование характера Феди, так и на его чувства к родителям. Михаил Фёдорович и до этого не был общительным человеком по натуре и не слишком соблазнился приглашениями коллег на маёвки и вечеринки, а упорное нежелание Анны Ивановны сближаться с кругом жён его сослуживцев уже давно привело к дальнейшему охлаждению отношений. Да и сам он теперь не рвался к такому общению, хотя в прошлом нередко настаивал на визитах к сослуживцам «ради приличия», наперекор сопротивлению жены. Но если раньше общество смотрело на неё с пиететом, то теперь чувство зависти уступило место злорадству, хотя о причине ухода примы из театра ничего не было известно достоверно. Впрочем, и сам Михаил Фёдорович так и не смог последовательно обосновать своей непреклонности. Он почему-то считал, что уход из театра каким-то образом защищал Анну Ивановну от порочащих намёков. Но, время от времени возвращаясь к этой теме, Анна Ивановна резонно возражала, что в реальности её положение ничуть не изменилось после стычки со столичным гостем, а Михаил Иванович, если уж на то пошло, больше заботился о собственной репутации, чем о чести жены. Старший Достоевский не был силен в словесной казуистике, однако мнения своего держался твёрдо. По его словам, если до скандала в бане ещё можно было ставить себя выше грязных разговоров и сплетен, то теперь это стало совершенно немыслимо. Его, как он выражался, поражало, что такая простая вещь могла быть ей непонятна, и ставил точку в споре своей обычной присказкой, дескать, это ясно даже ребёнку, это элементарно, это «четыре правила арифметики». Одним словом, и раньше нечастые посещения коллег теперь сошли на нет. Единственное исключение делалось для семьи старого приятеля Михаила Фёдоровича, некоего Изосимова, уроженца того же маленького районного городка, откуда Достоевского выдвинули на партийно-хозяйственную работу. К счастью, Анна Ивановна симпатизировала чете Изосимовых, так что её отшельничество не было полным. В то время Миха-

ил Фёдорович проводил очень много времени на работе, поэтому его влияние на ребёнка было ограниченным, а поскольку у Достоевских не было нужды отправлять Фёдю в детский сад, то до самой школы он рос при матери. Будучи изолированным от других детей, не считая дочки Изосимовых Наденьки, сверстницы мальчика, да двух-трёх соседских приятелей, с которыми время от времени он резвился на улице, но которых не слишком привечали в доме, Фёдор тоже приобрёл не то чтобы независимость, но какую-то отчуждённость. В нём не было заискивающей униженности аутсайдера, но не было и претензий на роль заводилы. Позже, уже в школе, это проявилось в упрямой защите своих желаний, а более всего – нежеланий. Это сильнее всего было заметно при необходимости совместно сделать выбор, каких бы простых вещей это ни касалось, даже, скажем, правил игры или разбивки по командам. Если он достаточно легко мог отказаться от своего предложения, когда большинство выбирало что-то другое, то уж заставить его делать что-либо против воли было сложно. За это Феде несколько раз перепало тумачков, но, в общем-то, ему везло с окружением, и никаких серьёзных последствий подобные стычки для него не имели. Кроме того, благодаря матери, он был мальчиком книжным, хорошо начитанным и знал массу интересных вещей, так что, если у его одноклассников возникали какие-то сомнения касательно исторических событий или мифических героев, к нему шли с просьбой рассудить спорщиков. Делал он это с удовольствием и некоторым даже высокомерием, что не всем нравилось, но, в целом, создавало ему репутацию беспристрастного и честного арбитра. Он и в самом деле не имел привычки выгораживать кого-либо в ущерб истине, даже тех, кто был с ним дружен, если считал, что факты не на их стороне. Правда, был один случай, который поставил Фёдора в сложное положение и даже едва не изменил его характер. Или, вернее сказать, что-то и изменил, но не в сторону компромисса, а напротив, усугубив его природное упрямство. Но здесь следует сделать отступление. В

характере Фёдора присутствовало несколько не совсем обычных черт. Например, он, как, практически, любой мальчишка младшего школьного возраста, иногда вступал со сверстниками в относительно безобидные потасовки, заканчивающиеся в худшем случае царапинами или разбитым носом. Но ещё в начальной школе было замечено, что Фёдя никогда не бил соперников по лицу. В некоторых столкновениях он одерживал верх, в других был битым, но, в общем-то, эта особенность ставила его в невыгодное положение. Другой столь же невыгодной чертой характера явилась чрезмерная зависимость от настроений окружающих, из-за которой его можно было заранее деморализовать насмешками, вплоть до полной капитуляции ещё до начала активных действий, что тоже ярко проявлялось в различных конфликтах, и тем сильнее, чем больше поддерживали Федино противника присутствующие секунданты. В некоторых отношениях Достоевский даже, пожалуй, проявлял склонности лидера, в частности, никогда не трусил и ни перед кем не пресмыкался, но из-за этих своих особенностей не пользовался особым авторитетом сверстников – ни в школе, ни на улице. Однако в какой-то момент, в возрасте двенадцати лет, когда у детей особенно сильно проявляются стадные инстинкты и потребность вхождения в какую-нибудь группу, он сошёлся с компанией ребят чуть постарше себя, живших в соседнем околотке, ближе к пустырям, и, как это ни удивительно, в течение некоторого времени имел там довольно высокий ранг. Компания эта мало чем отличалась от других дворовых и уличных команд, если не считать довольно жёсткой системы подчинения, поскольку там, как это иногда случается, имелся признанный коновод по имени Артём. Собственно, с Артёма всё и началось. Фёдя познакомился с ним во время летних каникул, когда, возвращаясь от бабушки по отцовской линии, добровольно заплатил за Артёма штраф за безбилетный проезд в пригородном поезде и, таким образом, позволил ему избежать привода в отдел линейной милиции, куда двое молодых и рьяных проводников собирались сдавать

нарушителя. Ещё в вагоне Феде показалось, что он и раньше встречал этого парня, а на вокзале, где подростки дружески пообщались по прибытии в город, его предположение подтвердилось – они оказались соседями.

Артём, как и большинство его приятелей, жил в рабочей слободке по другую сторону пустырей, в районе самозастройки, так называемой «нахаловки» или «шанхая». Когда-то давно это место было окраиной, но в послевоенные годы город сильно разросся, и, поглотив, хотя и не переварив «нахаловку», широко шагнул вперёд и привольно раскинулся по обеим сторонам реки. Беспорядочное же нагромождение ветхих домов, приткнувшихся на двух кривых узких улочках к северу от пологой кромки воды и зажатых между наполовину скрытым холмом и глубоким оврагом, раздражало городскую администрацию своим непрезентабельным видом, поскольку хорошо просматривалось с другого, крутого, берега, где почти напротив находилось здание горсовета. Ситуация усугублялась тем, что протяжённый и извилистый овраг, разделявший «нахаловку» и более благоустроенное и приятное для глаз Заречье, служил окрестным жителям импровизированной свалкой. Оттуда во время весенних паводков, когда овраг наполнялся водой, в реку выносило столько разной дряни и полуразложившегося хлама, что санитарно-эпидемические учреждения вынуждены были расклеивать плакаты о запрете на купание. Время от времени в верхах даже произносились по этому поводу призывы к сносу и перестройке, но, по-видимому, маячащая впереди унылая проблема предоставления индивидуального жилья всему густозаселённому «шанхаю» отрезвляла замечтавшихся народных избранников. Чтобы привести в движение всю эту пёструю массу людей, был необходим частный капитал, способный правильно оценить живописное место на излучине как заманчивую и рентабельную инвестицию. Именно это и произошло в конце концов, правда, уже в другую эпоху, но речь не о том, – а пока что всё оставалось по-прежнему. Справедливо ли было суждение о том, что там

была большая концентрация криминальных элементов, чем в среднем по городу, или нет, но народная мудрость гласила, что обитателям других районов лучше держаться от «нахаловки» подальше и без нужды туда не ходить, особенно в тёмное время суток. Нужно сказать, что поначалу родители Феде отнесли к его новой компании весьма по-разному. Если Анна Ивановна была в ужасе от Федино, как она выражалась, «общения со шпаной», то Михаил Фёдорович воспринял такой поворот событий спокойно. Будучи некогда и сам жителем рабочей окраины, он считал, что дружба с представителями иных слоёв будет благотворна для его, как он считал, чересчур изнеженного сына – в том смысле, что расширит кругозор, научит общению с разными во всех отношениях людьми и, в конечном счёте, послужит становлению характера. Собственно, члены Артёмовской «шоблы», как называли свою компанию сами участники, не были шпаной в строгом смысле слова, по крайней мере, в описываемый период, но некоторые элементы уголовного романтизма у них, безусловно, ощущались. Это было связано и с историей района, поскольку самозастройка когда-то началась вокруг рабочих бараков поселения «химиков», то есть заключённых, условно освобождаемых из колоний для работы на строительстве местного завода минеральных удобрений. Это было также связано и с тем, что у двоих из участников шоблы имелись отсидевшие родственники, а у самого Артёма старший брат в то время ещё продолжал «мотать срок» за драку с поножовщиной. Нет сомнения, что данное обстоятельство способствовало укреплению его почти деспотической власти в группе. Кстати сказать, Артём был единственным из этой компании, кто бывал у Достоевских дома. Причём, любопытно отметить, как, в результате этих посещений, менялись позиции родителей Феде: мать со временем смягчила отношение к его новому другу, Михаил же Фёдорович чем дальше, тем сильнее настораживался и с какого-то времени стал испытывать серьёзные сомнения в полезности погружения сына в народные массы. Действительно, за это

время Фёдор стал, безусловно, самостоятельнее и взрослее, но, одновременно, в нём появилась та самая грубость, которая в студенческие годы, выливаясь внезапно и обильно, удивляла плохо знакомых с ним людей своим кажущимся несоответствием с его обычной мягкостью.

Сначала авторитет Артёма способствовал укреплению Фединого положения в группе. Во-первых, его привёл сам вожак и оказывал ему явное покровительство. Во-вторых, сага о спасении от «мусоров», рассказанная Артёмом с некоторыми преувеличениями, хотя и выставляло главным героем его самого, всё же придавало Феде особый статус, а Достоевский был достаточно умён, чтобы что-либо опровергать. Но одновременно это же обстоятельство возбудило неприязнь у двух других ребят из компании. Один из них, татарин Ринат, прежде претендовал на приближённость к Артёму и второе место в группе. В каком-то смысле его ревность была объяснима, поскольку явное понижение мало кому приятно. А вот другим недоброжелателем оказался, напротив, щуплый паренёк из числа «шестёрок», со странным прозвищем Сеня – странным, потому что на самом деле его звали Олегом. Он-то как раз и спровоцировал последующие события. Федя увидел его впервые в шобле только в начале сентября. Как выяснилось позже, Сеня всё лето провёл у родственников в деревне. Но хуже всего было то, что, увидев, Достоевский его не признал, хотя Олег учился годом старше в той же самой школе, что и Федя, в отличие от других участников компании. И пусть до этого они никогда не общались лично, что не так уж и удивительно, если учесть огромное число учеников в многочисленных классах от «А» и до «Е», но то, что Фёдор не откликнулся на Сенино фамильярное приветствие, было воспринято тем как зазнайство и имело далеко идущие последствия. Случилось так, что в следующий раз Федя пришёл к полуразвалившейся беседке на задворках местной спортивной площадки, где по вечерам собиралась шобла, только через несколько дней, а к тому времени Сеня уже оповестил сотоварищей о том, что Достоевский

бздун и ссыкло и немедленно падает в обморок при виде крови. Хотя правды в этих наветах было мало, некоторые ребята, включая самого Сеню, стали поддразнивать Фёдора. Его это сильно огорчало, а то, что он не умел скрывать свою досаду, только подливало масла в огонь, провоцируя, как это обычно и бывает, всё новые насмешки. Так прошло ещё несколько недель. Наконец наступил день, когда выведенный из себя Достоевский схватил Олега за грудки. Если бы стычка закончилась дракой, инцидент был бы, скорее всего, исчерпан. Но тут вмешался Ринат. А что, ребята, сказал он. Ведь мы Федю совсем не знаем. Пусть сам докажет, что он не ссыкло. Пройдёт испытание, значит, уважука. И изложил условия испытания. Самым неприятным для Феде было то, что никто, ни один человек, за него не вступился. И даже Артём, которого происходящее, казалось, даже забавляло, согласно кивнул – дескать, да, всё справедливо. Фёдор сразу понял, в какое неприятное положение он попал. Отныне любой его шаг должен был закончиться скверно. Достойного выхода не было. И всё же он не хотел стать изгоем, как не хотел и падать на самое дно, а, значит, приходилось соглашаться. Да и времени на раздумья у него не было. И Фёдор согласился.

IV

Стоял тихий весенний вечер, и лёгкий ветерок переменчиво нёс то сладковатый запах трав, буйно цветущих на пустырях, то запах ила с реки, который, однако же, не был неприятен и даже давал ощущение свежести, поскольку примешивал к тёплому потоку прохладные струи. Всё дышало миром и покоем, но от этого Феде было только хуже, потому что тем ужаснее казалось то, что ему предстояло совершить. Путь лежал к ивовым зарослям в овраге, но сначала следовало незаметно подойти к сторожке древесно-мебельного комбината, примыкающего к спортплощадке и украсть Кутю. Марта, гроз-

ная породистая овчарка, охраняющая периметр комбината, несмотря на свирепый вид, была не так уж страшна, поскольку бегала на короткой цепи вдоль толстой стальной проволоки, да и привыкла к случайным прохожим, а вот сторожа комбината внушали опасения. И не потому, что пожадничали бы отдать щенка, если попросить, – трёх кобельков они уже раздали в соседние дворы совершенно бесплатно, осталась только Кутя. Тем более, что парней из шоблы они знали – если не по именам, то, во всяком случае, в лицо. Они, случалось, и к беседке подходили стрельнуть у ребят сигарету-другую, тогда как большинство местных жителей по вечерам обходили беседку стороной – от греха подальше. Впрочем, с другой стороны, у сторожа же ружьё есть, ему море по колено. Да только шапочное знакомство здесь ни при чём, это совсем не тот случай. Пристроить собачку в хорошие руки – дело благородное, тем более когда папаша неизвестен. Что из неё вырастет, непонятно, и ценность такого приобретения, по меньшей мере, спорна, так что желающих взять щенка ещё нужно поискать. Конечно, охранникам можно ничего и не рассказывать. А всё же Фёдору было жутко даже задаться вопросом, смог ли бы он сейчас посмотреть кому-то из них в глаза, особенно деду Василию. Когда Марта оценилась, второй охранник, дядя Максим, хотел весь помёт утопить в ведре, а дед Василий – он как раз сменяться пришёл – обругал Максима и не позволил. В общем, лучше бы было с ними совсем не встречаться, ни с тем ни с другим. Но для Феди в этот день ситуация сложилась удачно. Через зарешёченное окно сторожки был виден силуэт деда Василия и вдобавок доносились звуки передаваемого футбольного матча – значит, главное теперь, чтобы Марта не подняла переполох, а дальше всё будет в порядке. Достоевский присел на корточки и, негромко чмокнув губами, позвал:

– Кутя, Кутя! Иди сюда. Кутя!

Сначала стояла тишина. Федя уже набрал воздуха в лёгкие, чтобы покликать пса ещё раз, чуть погромче. Но тут послышался шорох и лёгкий топоток, и на бетонную дорожку, разде-

ляющую площадку и комбинат, неуклюже выскочил толстый серый щенок с большими лапами. Радостно повизгивая, он подбежал к Феде, опрокинулся на спину и обмочился. Несколько капелек попало на штанину брюк, и Фёдор с отвращением отпихнул Кутю носком ботинка, тут же понимая, что бессознательно пытается вызвать в себе гнев и отвращение лишь для того, чтобы оправдать собственную мерзость. А на самом деле нет ни гнева, ни отвращения, есть забавный увалень-щенок, от которого восхитительно пахнет и который смотрит на мир взглядом полным любопытства. А кроме любопытства – готовности доверия и любви к тому, кто захотел бы оправдать его любовь и доверие. Подошла Марта, неуверенно помахивая хвостом, ещё не понимая, что происходит, но, по-видимому, ощущая напряжённость Достоевского, который на секунду застыл, в очередной раз заколебавшись. Но в следующий миг он уже решительно подхватил Кутю, засунув её под полу куртки, не по весенней погоде надетую именно с этой целью, и зашагал к оврагу. На полпути его нагнали два шкета, которых, не принимая всерьёз по малолетству, в шобле хотя и не привечали, но терпели. Воздух был таким же тёплым и душистым, мимо с тяжёлым гудением время от времени пролетали майские жуки. Кутя, вначале беспокойно сучившая ногами, совершенно успокоилась и только пыталась высунуть мордочку в просвет между пуговицами. Два спутника Феде, как заправские головорезы, на ходу заспорили о том, как лучше убивать щенка: то ли перерезать горло, то ли ударом в сердце. Один из них, будучи когда-то свидетелем забоя кабанчика в деревне, разгорячившись, твердил, что лучше всего – в сердце, иначе перемажешься кровью, второй не менее рьяно ему возражал, пока Достоевский не велел обоим заткнуться. Наконец подошли к оврагу, где в ивняке уже ждали все остальные, и откуда ещё издали доносились преувеличенно бодрые оживлённые голоса – похоже, что и ребята постарше прониклись возбуждением предстоящей казни. Пожимая руки, Федя сделал круг и подошёл к Ринату – тот должен был дать ему орудие

убийства – настоящий охотничий нож, который он часто таскал с собой и который, якобы, раньше проходил по какому-то мокрому делу. Все, разумеется, понимали, что мокрое дело – не более чем художественный свист, но делали вид, что верят. Тем более, что финка была по-настоящему красива: с наборной рукоятью, хищным профилем лезвия и гардой со скобками для вытаскивания патронных гильз. Ринат с усмешкой протянул ему нож рукоятью вперёд, двумя пальцами держась за остриё. Нож, между прочим, был частью ордалии и должен был достаться Феде как награда за успешную инициацию. Достоевский рассказывал мне, что он до самого конца, до того момента, как прикоснулся к лезвию, был полон решимости «доказать, что мужик», как сказал об этом испытании Артём. И только теперь понял, что не сможет. Ещё минута-другая прошли в полном молчании, стихли смешки и разговоры, все глаза были устремлены на Фёдора. И тогда он швырнул нож в кусты и, резко повернувшись, пошёл прочь, почти не замечая свиста и улюлюканья за спиной и ругани Рината, который, треща ломаемыми ветками, искал свою финку под толстым слоем опавших листьев. На этом всё было кончено. Фёдор никогда больше не приходил к беседке, и, как ни странно, даже не видел с тех пор никого из Артёмовской команды, не считая самого Артёма, да ещё Сеню, который, встретив Достоевского в школе и ехидно ослабившись, попытался сказать ему что-то язвительное. Но Фёдор, охваченный неожиданной для него самого яростью, отвесил Сене такую затрещину, что тот впредь обходил его чуть ли не за километр. Что касается Артёма, то обстоятельства их следующей встречи с Федей были довольно любопытными. В девятом классе, то есть года через три после описываемых событий, Достоевский ненадолго влюбился в свою ровесницу, белокурую девочку, жившую в последнем доме на самой окраине Заречья, там, где оно уже переходило в «нахаловку». Вскоре он обнаружил, что у него есть соперник, которым по иронии судьбы оказался Артём. К тому времени Фёдор уже не был склонен к тому, чтобы смотреть снизу вверх

на приклатнённого парня с расплывшейся татуировкой на тыльной стороне правой руки. Более того, даже знака равенства между собой и Артёмом он бы не поставил. Тем сильнее было его изумление, когда он понял, что в этом треугольнике предпочтение отдаётся не ему. Однако такое обидное фиаско даже не слишком огорчило Фею, поскольку он смог объяснить себе, что если предмет его любви не способен оценить разницу между нормальным парнем и какой-то гопотой, то и жалеть здесь не о чём. Кроме того, в тот период, при нейтралитете Анны Ивановны и молчаливой, но явной поддержке четы Изосимовых и Михаила Фёдоровича, к Фёдору начала проявлять активный интерес подросток Наденька. И надо заметить, не без взаимности. Правда, Наденька, не обладавшая обострённым чувством меры, через совсем непродолжительное время стала вести себя в доме Достоевских как-то уж чересчур по-свойски и даже с назойливой услужливостью, а это в значительной степени восстановило против неё Анну Ивановну, не поощрявшую такой фамильярности. Михаил же Фёдорович, видевший в Наденьке потенциальную невестку, напротив, не мог нарадоваться, открывая в девушке очередной хозяйственный талант, но, впрочем, это уже другая история.

После позорной ордалии Фёдор принёс Кутю домой, накормил и уложил спать в своей комнате, хотя многочисленные предыдущие просьбы о собаке наталкивались на единодушный и категоричный отказ со стороны обоих родителей. Но на этот раз в его взгляде была такая непреклонность, что даже и дебаты не последовало: он просто поставил их перед фактом. При том, что Фёдор и раньше не был замечен в склонности к каким бы то ни было проявлениям стадного инстинкта, с тех пор у него укрепилась отчётливая неприязнь к любым формальным структурам. Теперь он делал всё так, как находил нужным, а были ли у него при этом союзники и попутчики, стало несущественным. Тогда же у Фёдора появилась довольно неприятная и надменная манера скалить зубы в почти беззвучном смехе, когда ему делали замечание, каким-либо

образом выражали несогласие с его высказываниями или поступками, да и, вообще, во всех тех случаях, когда ему чудилось хотя бы малейшее неодобрение окружающих. Единственным человеком, перед которым Федя по-прежнему трепетал, оставался Михаил Фёдорович, хотя и здесь всё было не совсем однозначно. Вспоминается, например, такой случай. К началу учёбы на третьем курсе Фёдор приволок в общежитие выпрошенный у родителей во время каникул новый магнитофон. То есть магнитофон-то у него был и до этого, но не самый крутой. А Достоевскому хотелось иметь настоящий «студийный», со сквозным каналом и всеми примочками по последнему слову науки, причём такими, что, при его технической осведомлённости, Федя вряд ли был в состоянии их оценить. На «смотрины» был приглашён широко известный в узких кругах меломан и эксперт Саша Галин, который, сдержанно похвалив флагман отечественной промышленности, заметил однако же, что пермаллоевые магнитные головки – полный отстой и, чтобы соответствовать мировым стандартам, нужно заменить их стеклоферритовыми или уж, на худой конец, сендастовыми. Месяца через два, после долгих поисков в тридорога купив западногерманские стеклоферритовые головки, Фёдор приступил к переоснащению магнитофона, при этом зачем-то разобрал до последнего винтика весь лентопротяжный механизм. При сборке, как это заведено у поклонников кружка «Умелые руки», у него осталось много избыточных деталей, что Федю не на шутку обеспокоило. Но магнитофон всё ещё работал, пока Достоевский не разобрал его вторично, пытаясь вспомнить, откуда взялись лишние части. Повторная сборка не увенчалась успехом, и с тех пор раскуроченный «студийник» молчаливо пылился на полке, уступив почётное место у изголовья кровати своему менее продвинутому собрату. Впрочем, Достоевский намеревался в ближайшем будущем отвезти магнитофон в ремонтную мастерскую. Так прошло несколько месяцев, покуда однажды рано утром в дверь нашего блока не постучался посыльный от вахтёра – сообщить, что

в фойе Фёдора ждёт неожиданно приехавший в столицу Михаил Фёдорович. Услышав радостную весть, Федя отнюдь не поспешил навстречу отцу, а, судорожно схватив почившее в бозе чудо техники, забегал по комнате, соображая, куда бы его побыстрее спрятать. В конце концов он пристроил своё имущество в соседнем блоке и только потом отправился на вахту. В общежитии была пропускная система, так что, к счастью для Фёдора, у него был небольшой резерв времени. В этом происшествии, быть может, и не было ничего сверхординарного. Но всё же имелось некоторое несоответствие в том, что взрослый парень повёл себя, как нашкодивший первоклассник. Но вот что любопытно. Всего лишь за два дня до этого я спросил у Феде, не слишком ли смело со стороны его родителей было назвать сына Фёдором Михайловичем Достоевским – как никак известный писатель и всё такое. Федя, придав своему лицу выражение ангельского терпения, первым делом сказал, что я далеко не единственный, кто задал ему такой идиотский вопрос. Но потом снизошёл до объяснения, дескать, такая уж сложилась традиция в семье его отца: называть старших детей мужского пола поочерёдно то Фёдором, то Михаилом. После чего, презрительно скривившись, добавил:

– А ты считаешь, что папаше известно, кто такой Фёдор Михайлович Достоевский? Не думаю.

Это, конечно же, была явная клевета. Старший Достоевский, не будучи завзятым книголюбом, не был и тёмным лапотником. Вероятно, здесь сказалось мамино влияние. Даже при мне, постороннем, в общем-то, человеке, Анна Ивановна несколько раз называла мужа «деревенщиной».

Кутя прожила у Достоевских недолго; в конце зимы она умерла от собачьей чумки. Федя крепился на людях, но несколько дней после её смерти рыдал по ночам. Каким-то непонятным образом Кутя и всё, что с ней было связано, навсегда вошло в его внутренний мир, так что и несколькими годами позже он возвращался в давние воспоминания. Однажды, уже в студенческие годы, Федя рассказал обо всём своему отцу.

Михаил Фёдорович был огорчён, что в своё время не почувствовал изменений в настроении сына и ничего не знал, но сказал, что Федя поступил правильно и что он не представлял себе другого исхода, повторив при этом поговорку о правилах арифметики. А у Фёдора во время этого разговора вдруг по ассоциации возникла совсем иная мысль, но тоже о предсказуемости человеческих поступков. Ринат, так дороживший своим ножом, ни с того ни с сего предложил отдать его Феде, если тот пройдёт испытание. Выходит, он заранее знал? Это было неприятное открытие, однако оно хорошо всё объясняло, а значит, приходилось его принять.

V

В тот день, несмотря на обещание всё рассказать, Достоевский так и не обмолвился ни словом о своей тайне. Я решил, что ему не хотелось изливать душу в присутствии постороннего человека, ведь он не видел никакой срочности в том, чтобы посвящать меня в свои личные дела. Не исключено, что Федя был бы более откровенным, если бы мы с ним остались вдвоём, впрочем, у меня не создалось впечатления, что он чувствовал себя сколько-нибудь скованно из-за присутствия Аэлиты. А вот Аэлита, напротив, вела себя застенчиво, и даже, как мне показалось, несколько заискивающе и робко, что, вообще говоря, было ей несвойственно. Даже её движения показались мне какими-то угловатыми и одеревеневшими. Тогда я не придавал этому никакого значения, а напрасно. Так или иначе, но в совокупности это вносило некоторую официальность в обычный и ничего не значащий застольный треп. Некоторое оживление вызвало возвращение Лизоньки: сначала Фёдор разогревал суп и кормил дочь, потом Лизонька увела Аэлиту в свою комнату показывать ей игрушки, потом Достоевский ходил спасать Аэлиту от навязчивого внимания Лизоньки. А я воспользовался паузой, чтобы поискать на стеллажах и по-

листать редкую книгу «От Ахикара до Джано», которую мне некогда давала читать покойная Анна Ивановна и которую я с тех пор никогда и нигде не видел. Но Фёдор с Аэлитой через несколько минут возвратились назад, так что книгу я так и не нашёл. И хотя атмосфера вечера была вполне приемлемой, подзатянувшееся чаепитие, главным украшением которого, не в пример былой роскоши, был непритязательный вафельный торт, скоро стало меня тяготить, и я воспользовался очередной паузой, чтобы проститься. Аэлита послушно встала вслед за мной, но, когда я предложил ей пешком дойти до её дома, заартачилась. Звёзды уже высыпали на небе, тихое безветрие располагало к романтической прогулке, но она сказала, что устала. Мы стояли на обочине дороги, молча голосуя несчастным машинам. Я попытался узнать, какое впечатление произвёл на неё Достоевский, однако же наш молодой специалист был крайне задумчив и неразговорчив, и как-то постепенно мои безответные монологи увяли. Единственной внятной фразой был ответ Аэлиты на мой невинно заданный вопрос, в самом ли деле она так любит вафельный торт.

– Терпеть не могу, – ответила Аэлита.

И это был именно тот ответ, который я ожидал от неё услышать. Я даже приободрился немного, но всё равно чувство обиды от её отказа так и не прошло до конца. Когда красные огоньки машины, увозившей от меня Аэлиту, мерцая, погасли вдали, я отправился в противоположную сторону, чтобы перейти на северный берег реки через старый кладбищенский мост. Мне захотелось немного побродить по улицам ночного города, чтобы дать волю воспоминаниям. Я много чего передумал за этот вечер и понял, что следует всё же проглотить свою гордыню и наконец сказать Фёдору о том, что его давняя обида несоразмерна проступку и моя роль в том, что его отвергли, весьма незначительна.

Увы, случилось так, что на следующий день меня послали в служебную командировку аж в Киргизию. Рабочий график у меня оказался довольно плотным, необходимо было закон-

читать реконструкцию цеха помола после установки шаровой мельницы взамен старой, пришедшей в негодность. Невзирая на предполагаемую срочность, пусконаладочные работы несколько раз откладывались из-за всевозможных недоделок, сначала на восемь дней, потом ещё на десять, потом ещё на полмесяца. Так что следующая встреча с Достоевским случилась не скоро, а, между тем, за время моего отсутствия произошёл ряд существенных событий, так что к тому времени у меня пропало желание нести Фёдору свои извинения. Главный сюрприз ждал меня в первый же день после выхода на работу, когда я заметил, что на рабочем столе молодого специалиста вместо обычного хаоса царит идеальный порядок: карандаши в стаканчике, справочники на полочке, чертежи сложены аккуратно стопкой. Как выяснилось, Аэлита уже полторы недели назад сходила к директору треста и настояла на отпуске без содержания с формулировкой «по семейным обстоятельствам». После работы я помчался к ней домой, но и там меня ждала неудача. Дверь ведомственной малосемейки, где жила Аэлита, была на замке, за дверью стояла тишина. В квартире справа никто не открыл, из квартиры слева выглянула на стук молодая женщина с наполовину покрашенным лицом и, смущаясь, ответила мне из полумрака прихожей, что она уже несколько дней не видела Аэлиты и где та может быть, ей неизвестно. Но, видимо, её тронуло беспокойство, написанное на моём лице, потому что, когда я уже начал спускаться вниз, снова лязгнул замок и голос «левой» соседки окликнул меня из-за приотворённой двери:

– Эй, парень! К ней в последнее время молодой человек заходил, но не один, а с девочкой. Девочка лет пяти, светленькая такая. А больше я ничего не знаю.

Я рассеянно поблагодарил и, спустившись вниз, какое-то время стоял под крыльцом подъезда. Эту ситуацию нужно было хорошенько обдумать, хотя... Что тут было обдумывать? Всё и так было ясно. Скорее, нужно было осознать своё место в сложившемся положении.

VI

Должен признаться, что, несмотря на многочисленные попытки отстранённо посмотреть на свои разбитые надежды, философского отношения к поступку Аэлиты у меня так и не возникло. Наоборот, если изначально я был склонен как можно скорее прояснить возникшее недоразумение, то впоследствии мне стало противно даже думать о том, что скоро мы неизбежно пересечёмся на работе.

Началось всё с того, что, едва я вернулся домой, меня одолели сомнения. Может быть, соседка что-то напутала? Может, у Аэлиты что-то случилось с родителями и ей пришлось срочно уехать? Возможно такое? Возможно. Да мало ли что могло произойти? Зачем я делаю скоропалительные выводы? Нужно просто подождать, и всё выяснится. Но ждать оказалось не просто. Настолько не просто, что на следующий день я, предварительно вновь постучавшись в закрытую дверь, напрямик отправился в Заречье. Ну и что тут такого, думал я, выходя из дома Аэлиты. Ну и что, ничего тут нет особенного. Мы же собирались увидеться с Фёдором? Собирались. Я просто приду к нему, и всё станет ясно. Даже если я её там и не увижу, я пойму по его реакции, встречаются ли они. Но мне уже было противно. Противно идти к Достоевскому, противно пытаться что-то выведать у него. Противно и унижительно. Я как-то вдруг осознал, что никогда не относился к Феде на равных, я всегда смотрел на него немножко свысока. Из-за его наивности. Из-за его книжной галантности и чрезмерного идеализма в те периоды, когда он находился в романтической фазе. И из-за его грубого цинизма, когда он впадал в противоположную крайность, будучи в очередной раз обиженным и отвергнутым, причём его цинизм произрастал от того же корня, что и романтические бредни. Он всегда казался каким-то ненастоящим. И я подозреваю, что не только мне, но и тем девушкам, которым Фёдор пытался понравиться, включая даже простую и незамысловатую Иру, пока она месяц или два находилась в

статусе его возлюбленной. Даже Ира, которая, я уверен, смотрела на Федю только как на удачную партию и для которой, в связи с этим, его характер представлял интерес только с точки зрения личного удобства, и та посмеивалась над Достоевским, когда тот расточал ей изысканные комплименты в стиле галантного века. Невозможно было допустить мысли, что ему могут отдать предпочтение передо мной. Более того, я и конкурентом-то настоящим не мог его считать. В чём бы то ни было. А теперь иду к нему, рискуя столкнуться там с девушкой, которую я мысленно уже называл своей. Строго говоря, у нас с Аэлитой ещё ничего и не было, кроме взаимной симпатии, поэтому речь не шла о каких-то обязательствах. Но даже тот факт, что мне не хотелось торопить наши чувства, казалось, предвещал что-то большое и настоящее, и в этом свете поступок Аэлиты воспринимался как измена.

Я никого не застал у Достоевского. Дом был тих и пуст. Постучав ещё пару раз и потоптавшись несколько минут у ворот, я неторопливо зашагал по тротуару и тут же заметил фигурки молодой женщины и девочки, движущиеся мне навстречу. Почти не отдавая себе отчёт в том, что делаю, я повернул в узкий переулок, чтобы не быть обнаруженным, но, в то же время иметь возможность убедиться в правильности своего предчувствия. Увы, оно меня не обмануло. Через несколько минут мимо меня по улице прошла Аэлита, держа за руку дочь Достоевского. Иллюзии исчезли, унося с собой бывшее очарование. Теперь самая мысль о нашей предстоящей встрече, скорее, удручала, и, если бы существовал хоть малейший шанс этой встречи избежать, я бы, не задумываясь, им воспользовался.

VII

Прошло ещё несколько дней. Я старался не вспоминать ни об Аэлите, ни о Фёдоре, и мне это почти удавалось. Не то чтобы я совершенно успокоился, но, во всяком случае, мне

удавалось сохранять хладнокровие – до такой степени, что, когда Аэлита вновь появилась в отделе, я нашёл в себе силы не только поздороваться с ней, но и холодно улыбнуться в ответ на приветствие. То, что она вела себя со мной скованно, только сильнее укрепило меня в подозрениях. Никто не станет так себя вести, если не чувствует себя виноватым, и никто не будет чувствовать себя виноватым, если он на самом деле не виноват. Аэлита даже попыталась пригласить меня в кафе в обеденный перерыв, чтобы, как она выразилась, «объясниться», но я отказался. Сослался на занятость, тут же, впрочем, добавив, что мне не нужны её объяснения. Это было лишним, поскольку намекало на мою обиду, но так уж вышло. Больше мы не сказали друг другу ни слова, да и в последующие дни общались в рамках производственной необходимости, не более. Попыток выяснить со мной отношения Аэлита уже не предпринимала, а вскоре мне пришлось вновь уехать по работе, и наши вынужденные служебные встречи на какое-то время прекратились. В командировке меня мало-помалу отпустило, по крайней мере, мне так казалось, и постепенно я перестал терзаться изменой Аэлиты. Однако я всё ещё время от времени возвращался мыслями к Феде и его дочери. Эта загадка продолжала меня мучить. Судя по возрасту девочки, она должна была родиться ещё до конца нашей учёбы в университете. Но ведь ничего такого не было. Я бы знал, если бы было. Правда, я слышал, что на четвёртом курсе, в где-то в середине зимы, Ира Генералова пыталась радикально решить вопрос о замужестве, заявив Достоевскому, что беременна от него. К тому времени мы с Фёдором уже не общались, так что информацию я получал из вторых рук. Но Серёга Стрельцов, который мне об этом рассказывал, был уверен, что Ира просто решила пойти ва-банк, поставив Достоевского перед выбором. Как раз накануне она гостила у Феде с полного одобрения и даже по инициативе его родителей, после чего Михаил Фёдорович и Анна Ивановна единодушно заявили сыну, что Ирочка – не та девушка, которую они хотели бы видеть в качестве своей не-

вестки. У Фёдора, без сомнения, должно было хватить здравого смысла, чтобы не передавать этого завета предков своей без пяти минут суженой. Но Ира и сама могла сложить два и два, поскольку Достоевский, только недавно с энтузиазмом строящий планы на медовый месяц, вдруг включил задний ход. Так что Серёгино предположение имело под собой кое-какие основания. Но и в этом случае концы не сходились с концами. Я хорошо помню, что Ира заходила к нам перед отъездом, уже после защиты диплома, и никакого изменения фигуры я у неё не заметил. Нет, здесь было что-то не то. Здесь скрывалась какая-то тайна, и в этом заключалась дополнительная несуразность. Фёдор нисколько не походил на такого человека, который стал бы тщательно замечать следы и таить свои связи от окружающих, напротив, его можно было назвать душевным эксгибиционистом. Он очень охотно рассказывал о своих чувствах, и не только в тех ситуациях, которые могли бы ему польстить. Причиной этого, как мне кажется, была его несокрушимая самонадеянность. Если действительность не соответствовала его видению мира, то тем хуже для действительности. Непонятно почему, но Фёдор, например, нисколько не сомневался, что может осчастливить любую девушку, коль скоро на неё будет обращено его благосклонное внимание. При этом он отнюдь не был красавцем. Как я уже говорил, у него была немного неуклюжая и сутуловатая осанка в силу особенностей сложения: очень широкие и прямые плечи при общей subtilности, да ещё и слишком короткая шея. В лице Фёдора тоже не было ничего особенного – обычное лицо обитателя Восточно-Европейской равнины, никаких особых примет. Впрочем, отталкивающего впечатления он тоже не производил, и я лично знал двух весьма симпатичных и неглупых девушек, которые по нему вздыхали. Кстати, Федя тоже был в курсе этих вздохов, но он не был бабником, лёгкие пути его не прельщали, а чужие влюблённости ничуть не интересовали и не вдохновляли на ответность. Ему нужно было влюбиться самому. Я это к тому, что не требовалось талантов Шерлока

Холмса, чтобы быть в курсе Фединых увлечений, для этого достаточно было находиться рядом. Да их и было-то всего три, и все они были незамысловаты, как книжки-раскраски для детей дошкольного возраста. Полагаю, что я знал о Достоевском ровно столько, сколько знали все остальные наши приятели, никак не меньше, и не похоже, чтобы у него имелась какая-то другая, скрытая от нас секретная жизнь. Но ведь она была! Иначе откуда бы взялась Лизоньке?

VIII

Итак, сначала это была Надя. Уже в начале первого курса нам было известно, что у Фёдора есть невеста – именно такое слово он использовал, повествуя о своей подруге. А в канун Нового Года мы удостоились её лицезреть. «Мы» – это остальные обитатели комнаты номер 706 институтского общежития. И мало того, что знали: Фёдор был словоохотлив и не скупился на яркие краски, если речь заходила о «Наденьке» – уж такая она у него умница-красавица-студентка-комсомолка. Эдак немудрено обзавидоваться, а при наличии воображения, пожалуй, и влюбиться заочно. К тому же мы были наивными, неопытными и легковверными юнцами, только что со школьной скамьи. Никто из нас даже «моя девушка» не мог ни о ком сказать, а тут сразу «моя невеста»! Тем сильнее было разочарование при встрече. И не то чтобы Фебина подруга была как-то особенно нехороша – не в том дело. Она не производила впечатления какой-то вопиюще глупой, или некрасивой, или невоспитанной, вовсе нет. Но, увы, вся Надя легко вписывалась в одну частицу «не»: в ней не было ни шарма, ни грации, ни остроумия, ни чертовщинки. Она, правда, была очень богато и даже с некоторой претензией одета, но этим и заканчивалась необычность. Да ещё, когда она вошла в комнату, от неё повеяло каким-то приятным и даже изысканным ароматом, так что Серёга Стрельцов, наш штатный шут, громко проде-

кламировал строчку «дыша духами и туманами». Чем, кстати говоря, вызвал взрыв смеха, поскольку Фёдор в тот период ещё увлекался изящной литературой и охотно и даже навязчиво потчевал нас стихами, как заимствованными, так и собственного сочинения. Это уж потом, и, кстати, как раз после того как Наденька предпочла ему другого, он заявил, что поэзия – говно, а письмо Онегину писала никакая не Татьяна, а пожилой мужик, да ещё и негр в придачу. Но, кроме красивой упаковки, Наденька мало чем могла похвастать. Её лицо никогда не бросилось бы вам в глаза в толпе – надо было быть Федей, чтобы в этой серой мышши увидеть красавицу. Вот чего в ней имелось с избытком, так это апломба. Серёгина шутка ей не понравилась, судя по тому, как она презрительно поджала тонкие губки. Не спорю, может быть, и в самом деле, шутка была неуместной. Но и позже, насколько я был тому свидетелем, Надя не слишком жаловала Фединых приятелей и обращалась с ними как с какой-нибудь челядью. Наверное, такую черту характера до некоторой степени могло сформировать ощущение принадлежности к кругу избранных, но вряд ли это настолько сильно бросалось бы в глаза, будь Наденька немного более чуткой. Впрочем, её зазнайству, без сомнения, способствовал и сам Достоевский с его претензией на куртуазность. Вообще, в Фединой галантности было что-то комичное, но в то же время и трогательное. А самое удивительное заключалось в том, что Достоевский применял её ко всем без разбора. Не только к Наденьке, которая хотя бы была дочерью партийного функционера, не только к по-настоящему очаровательной и умненькой отличнице-медалистке Тане Паниной, но позже и к Ире Генераловой, выросшей в семье потомственных алкоголиков и, мягко говоря, не слишком обременённой интеллектом и условностями хорошего тона. Но таков уж был Федя. Влюбляясь, он наделял объект своих нежных чувств всеми мыслимыми и немыслимыми достоинствами, в ущерб реальности и даже здравому смыслу. Интересно, что впоследствии, избавившись от им же самим навешанных

грёз и чар, Достоевский ретроспективно выстраивал в своём воображении новые образы, и бывшие сказочные принцессы превращались в не менее сказочных жаб, так что ни о какой объективности здесь говорить не приходится. И если это ещё как-то можно было оправдать, когда девушки давали Феде отставку, то в случае разрыва с Ирой инициатором выступал сам Достоевский. Однако и здесь, подчиняясь какой-то тайной пружине, скрытой в его характере, Фёдор выставил ей длинный счёт пороков, недостатков и обид, нисколько не считаясь с тем, что прежде он столь горячо отрицал кое-какие нелестные детали, на которые порой, иногда тактично и полунамёками, а иногда и грубовато, ему пытались указывать друзья – детали, очевидные для всех окружающих, но только не для него самого. Такой оборот можно было бы считать прозрением, если бы Федя всего лишь терял свои розовые очки, но он всегда шёл дальше, примешивая к неприятным воспоминаниям ещё и долю той грязи, которая теперь прочно гнездилась в его восприятии. Забавно и то, что никто из бывших пассий Фёдора не сохранил к нему впоследствии нежных чувств, и, кажется, даже не по причине разрыва как такового. Скорее всего, они ощущали бессознательное разочарование из-за того, что бесповоротно и навсегда переставали быть для кого-то принцессами. Став отныне обычными простолюдинками и лишившись свиты, пусть даже эта свита состояла всего лишь из одного человека, они возлагали вину за своё падение на Достоевского, хотя в этом-то он вряд ли был виноват.

Что касается Наденьки, то Федя переживал свою отставку очень тяжело, в особенности оттого, что, во-первых, она случилась неожиданно и, как ему казалось, по ничтожному поводу, а, во-вторых, предстоящая свадьба казалась ему делом хотя и отдалённым, но вполне решённым. Тем более что отец Фёдора весьма поддерживал и даже в какой-то степени направлял выбор сына, да и Наденькины родители чаяли в нём будущего зятя. Впрочем, действующие лица этой мелодрамы, без сомнения, видели ситуацию по-разному. Михаил Фёдорович считал,

что главной проблемой было то, что молодые люди жили на расстоянии друг от друга. Ему с самого начала не нравилась Наденькина затея с художественным институтом в Вильнюсе, но та сильно упёрлась в своём желании стать законодательницей мод, дизайнером тканей и кутюрье. Отдалённость, вероятно, сыграла свою роль, но, скорее всего, не в том смысле, как это видел Михаил Фёдорович – тем более что Федя два три-раза за семестр ездил к своей невесте, да и Надя приезжала к Достоевскому в Москву, хотя и пореже. Скорее всего, ей просто надоело ожидание, надоело то, что Федя был слишком слащаво-галантен и одновременно нерешителен. Он по-прежнему скромно целовал девушку в щёчку даже наедине, брал под руку, когда они прогуливались, и в то же время мог неуместно громко продекламировать при посторонних людях строку «Люблю тебя, Петра творенье!» – а потому что отчество Наденьки было Петровна. Однажды Надя приехала в день факультетской дискотеки, куда Фёдор её настоятельно повлёк, и мы, стоя в стороне, потешались, глядя, как на фоне бликов зеркального шара наш жених делал поклон и прищёлкивал каблуками, приглашая девушку на танец. Всё это пахло таким нафталином, что было странно, как столь манерный стиль попал в современную эпоху. Я, грешным делом, зная, что мать Фёдора когда-то служила актрисой, подозревал её влияние как причину этих кунштюков – но нет, при встрече Анна Ивановна оказалась вполне современной женщиной. Как бы то ни было, но за три года взаимоотношений мало что изменилось, а девушке, наверное, хотелось каких-то перемен. Хотя и следует заметить, что непосредственным началом ссоры всё же послужило именно нарушение традиции. Как я уже говорил, Федя, как правило, был при деньгах, да и Наденька, кажется, не имела привычки считать каждую копейку, судя, например, по тому, что её родители, придя в ужас от перспективы жизни в общежитии, быстренько слетали в Литву и на долгий срок сняли для дочери-первокурсницы однокомнатную квартиру в двух шагах от института. То ли в связи с этим, то ли по какой-то другой при-

чине, но Фёдор завёл одну фанфаронскую привычку. Во время поездок к Наденьке, независимо от времени года, он, прежде чем стучать в её дверь, должен был непременно заскочить на рынок за роскошным букетом цветов. А тут, как назло, случилось так, что Достоевский сильно поиздержался накануне очередной поездки. Настолько, что ему едва хватало денег на обратный билет. Тогда он ещё не знал, что поездка будет последней. Он, конечно, отдавал себе отчёт, что Наденька будет неприятно удивлена, увидев его без обычного букета, но не понимал, до какой степени. По крайней мере потом, рассказывая друзьям о своих злоключениях, Федя всегда вспоминал, что в тот приезд Наденька была с ним необычно холодна, а при расставании упрекнула в скаредности. Фёдор вспылал, девушка не осталась в долгу, и они наговорили друг другу гадостей. Всё это случилось накануне сессии, но Наденька, поразмыслив и исчерпав терпение в попытках призвать Достоевского к покаянию посредством телеграмм, через несколько дней сама явилась к нему ранним зимним утром – мириться. И, вопреки обыкновению, решила растянуть свой, обычно однодневный, визит, на целых два дня. Состоявшееся тут же примирение было довольно бурным, а, если верить Фёдору, то Наденька даже намекала ему, что не стала бы возражать и против более полного выражения нежных чувств. И, вроде бы, готова была провести с ним ночь накануне своего отъезда, несмотря на предварительную договорённость о встрече с двоюродной тёткой по отцовской линии, у которой Изосимовы обычно останавливались, бывая в Москве. Но наш Федя, целомудренный, как Иосиф, отверг домогательства девицы, сказав, что это было бы с его стороны непорядочным. Так, во всяком случае, история изначально преподносилась со стороны Фёдора. Как выяснилось в ходе дальнейших бесед, более вероятной причиной ответа явилось не столько целомудрие, сколько скрытая ревность, поскольку Достоевский был готов заранее подозревать свою невесту в будущей распущенности, коль уж она лишилась невинности. Насколько основательны были такие подо-

зрения, неизвестно, однако ссора не замедлила вспыхнуть вновь. Наденька то ли догадалась об истинной причине отказа, то ли просто была разочарована Фединой робостью. Правда, к концу дня молодые люди снова помирились, но это был уже зыбкий мир. В довершение всего Фёдор впервые не пожелал проводить Наденьку в путь, сославшись на необходимость сдавать задолженность по технологии. Несмотря на то, что задолженность вовсе не была выдумкой Достоевского и на самом деле могла стать причиной недопущения к экзаменам, Федино поведение было расценено Надей как враждебный демарш. Три недели спустя, не ставя в известность Фёдора, Наденька написала родителям, что выходит замуж за одноклассника, который ухаживал за ней ещё с первого курса. Дескать, она обо всём подумала, взвесила плюсы и минусы и приняла решение, просьба не беспокоить непрошенными советами, точка. Чета Изосимовых оповестила старшего Достоевского, и тот, отчётливо понимая, что если ситуацию ещё можно как-то спасти, то это под силу только одному человеку, примчался к сыну. Но Фёдор, едва опомнившись от неожиданного потрясения, внезапно заупрямился. Если, сказал он, Надежда такая дрянь – скатертью дорога! Михаил Фёдорович хотел знать, что могло стать причиной разрыва, и Федя, не очень беспристрастно и с кое-какими купюрами, открыл старшему Достоевскому глаза на отдельные подробности его последних встреч с невестой. Однако Михаил Фёдорович непреклонно встал на сторону Наденьки, называя сына чурбаном и особенно напирая на то, что Фёдор должен был, должен был, должен был, непременно должен был проводить девушку в аэропорт. Пускай она не права, говорил старший Достоевский, пускай вы поссорились, но ты поступил некрасиво, ты не сделал то, что, как это всем понятно, обязан был сделать настоящий мужчина, это элементарно, это четыре правила арифметики. Наверное, Михаил Фёдорович переоценивал значение данного эпизода, но факт остаётся фактом: в мае Наденька вышла замуж, через год взяла академический отпуск и родила здорового младенца, ещё че-

рез полгода у неё началась череда непрекращающихся скандалов в семье, и в институт она вернулась доучиваться уже разведённой. С Фёдором она больше не общалась, а когда тот пару лет спустя попытался с ней заговорить, встретив на улице родного города, молча прошла мимо с негодующей миной, что было достаточно странно, учитывая, что никакого зла он ей не причинял, даже если забыть о справедливости и подходить к нему с Зоиловой мерой. Впрочем, данный случай вовсе не уникален. Что касается Фёдора, то он, сразу после того, как его отвергла Наденька, очень изменился. Трудно было узнать в хронически нетрезвом, грубом и развязном жлобе прежнего галантного кавалера и любителя поэзии «серебряного века». Это была не единственная метаморфоза, произошедшая с Федей на наших глазах, но она была первой и поэтому неожиданной. Теперь, говоря о бывшей невесте, Фёдор называл её не иначе, как «эта сучка». Замечу, что при мне он вспоминал о ней считанные разы, да и эти разговоры сводились к одной-двум ничего не значащим фразам. Лишь однажды Федя обмолвился, что ему жаль, что всё так сложилось. Я наострил уши в ожидании исповеди, но оказалось, что зря, ничего существенного он не сказал. «Надо было её трахнуть, когда она предлагала», – вот и всё, что я от него услышал. Месяца через три или четыре Фёдор перестал чудить, однако былая поэтичность вернулась к нему только тогда, когда он начал ухаживать за Таней Паниной. Но эта перемена уже никого не удивила.

IX

Спускаясь в фойе после рабочего дня, я услышал разговор двух наших чертёжников, куривших на лестничной площадке.
– Смотри, Вадик, этот папик опять нашу Литку ждёт. Может, выйти сказать ему, что у неё сегодня отгул?

«Литка» – это, разумеется, было сокращением от Аэлиты, поэтому я, не сбавляя шага и не останавливаясь, всё же прислушался.

– Да ну его, – ответил второй, – подождёт немного, да и пойдёт, не вечно же он будет тут маячить.

На следующей площадке я замедлил ход и посмотрел в окно. Ну да, конечно, Достоевский собственной персоной, кто же ещё? Он стоял, опираясь ногой на чугунное ограждение и наблюдая за выходящими. На богатого папика он, правда, совсем не был похож в своей затрапезной куртке, но молодые чертёжники, только-только из техникума, наверное, подразумевали разницу в возрасте, а не статус. Почему-то меня это слово задело – я же тоже был постарше Аэлиты, пусть и ненамного.

К сожалению, трест был оснащён вахтой, так что выйти из здания на улицу можно было только одним путём, и моя попытка проскользнуть мимо Фёдора незамеченным не удалась. Он решительно преградил мне дорогу да ещё и издевательски помахал ладонью у меня перед лицом – дескать, разуй глаза, я здесь.

– И что? – не слишком приветливо спросил я Федю.

– И то, – ничуть не смущаясь, ответил Достоевский.

Мы помолчали, глядя друг на друга, после чего Фёдор взял меня за рукав и скомандовал:

– Пошли!

– Куда?

– Пойдём, пойдём, там узнаешь. И не злись на меня. Мы ничего такого не делали.

– Кто это «мы»? И какого «такого»?

– Не надоело притворяться? Мы – это я и Аэлита. Впрочем, она тебе сама всё расскажет.

– Не надо мне ничего рассказывать.

– Ты, правда, такой дурак? Впрочем, что это я? Если честно, мне в какой-то момент хотелось тебя проучить за то, как ты со мной обошёлся, ты это заслужил. Просто девочку жалко. Переживает очень. Влюблена в тебя, похоже. Хотя и непонятно, как можно влюбиться в такого осла. Ладно, хватит артачиться. Пошли! Или мне тебя волоком тащить?

– Пупок не развяжется? «Проучить»! Слово-то какое.

– Ну всё, правда. Давай не будем, хватит пререканий. Тут рядом с вашей конторой есть уютная кафешка, да ты, наверное, её знаешь. Аэлита нас уже ждёт. Ты же любопытный? Вот и узнаешь кое-что.

Действительно, за столиком в глубине зала кафетерия, куда мы пришли, сидела Аэлита. Не было похоже, что она рада встрече, но я вскоре сообразил, что это вовсе не так, просто она была сама не своя от волнения. Фёдор ушёл делать заказ, а Аэлита в первый раз за последние несколько недель посмотрела мне в глаза и сказала:

– Как хорошо, что Феде удалось тебя уговорить. Я не верила, что ты придёшь. Ты не думай ничего плохого. Просто Федина бывшая – ну, Лизина мать – она же под следствием была. Больше полугода. Он надеялся, что, всё ещё обойдётся. Поэтому ничего не хотел говорить, ну, в смысле, зачем рассказывать направо и налево о том, что не красит, правда ведь? Но нет, не обошлось. Вот Федя и попросил меня побыть с девочкой, пока ездил туда-сюда. Там сначала с адвокатом нужно было договариваться. Потом суд. Потом её уже в колонию отправляли, а перед этим одно свидание разрешается. В общем, не сладко ему пришлось, бедняге.

– Постой! Какая ещё мать? Под каким следствием?

– Ой, правда! Ты же ничего не знаешь.

– А ты прямо всё знаешь! Я с Федькой подольше тебя знаком. Нет у него никакой «бывшей». И никогда не было.

– Федя сказал, что он объяснит. Разве он тебе ничего не рассказал, когда вы встретились?

– Да как-то настроения не было с ним общаться.

Тут как раз к столику подошёл Достоевский, и я набросился на него.

– Федя, что за хрень? Что за сказки Венского леса? Какой-то суд, какая-то бывшая. Поумнее ничего не мог придумать?

Но Достоевский проигнорировал мой вопрос.

– Слушайте, вам сейчас нужно поговорить. И лучше без меня. Я там пирожные заказал. И кофе. Всё оплачено, так что ни о чём не беспокойтесь. Приятного аппетита. Я пошёл.

– А ты не хочешь объясниться?

– Хочу. Но не сегодня. Слушай, приходи ко мне завтра. Ты прав, нам есть о чём поговорить.

И, не слушая больше моих возражений, невозмутимо направился к выходу.

Я бессильно воздел ладони вверх и откинулся назад на спинку кресла.

– Вот скотина!

– Да нет, – мягко поправила меня Аэлита, – просто ему сейчас тяжело. Он такой несчастный!

Мы просидели за столиком долго. По словам Аэлиты, около семи месяцев назад Достоевскому позвонила бывшая жена и попросила срочно забрать девочку. Тогда дело ещё ограничивалось подпиской о невыезде, но, в общем-то, дальнейшая перспектива обрисовалась довольно ясно: она была главным бухгалтером какой-то брокерской фирмы и визировала все финансовые документы. Федя утверждал, что во всём виноват проворовавшийся гендиректор компании, но у следствия было другое мнение. В любом случае, главный бухгалтер нес ответственность за фальсификацию отчётов, а произошло ли это по злему умыслу или по неведению, могло повлиять только на длительность наказания. Одним словом, девочке всё равно пришлось расставаться с матерью. Как выяснилось, Достоевский попросил помощи у Аэлиты ещё в день знакомства. Тогда он уже знал, что ему вскоре предстоит уехать, хоть и не знал, когда именно, а таскать с собой пятилетнего ребёнка по адвокатам и тюрьмам – тоже не самый лучший выход. Федя должен был найти кого-то, кто взял бы на себя заботу о Лизе на время его отъезда. В детском саду Фёдору ничем не смогли помочь. Несмотря на то, что детский сад был круглосуточным, заведующая без обиняков отказала Достоевскому, ссылаясь на должностную инструкцию. Бабушка Регины – та самая старушка с детской площадки, внучка которой дружила с Лизой, – попыталась было закинуть удочку и уговорить дочь и зятя приютить девочку на несколько дней. Увы, по недомыслию она не

затруднилась созданием более благовидной легенды, а честно рассказала, что мать девочки находится в следственном изоляторе. После чего зять, и без того не слишком жалующий тещу, без промедления закатил скандал и стал кричать, что не потерпит в своей квартире воровское отродье. И так, оставить дочь было решительно не с кем, а отдавать её какой-нибудь незнакомой нянечке Достоевский не хотел, ребёнок и так только-только начал привыкать к новой жизни. И тут Феде пришла в голову счастливая мысль, именно в тот момент, когда обычно пугливая и недоверчивая Лиза так весело и звонко смеялась, играя с Аэлитой.

– Ладно, – я в очередной раз кивнул головой, – теперь хотя бы понятно, почему ты так странно себя вела, когда мы были у Феде. Но не было у него никакой жены, понимаешь? Не-бы-ло! Не было!

– Я не знаю. Это он так говорит. «Моя бывшая».

– Чёрт знает что... Ну хорошо. А почему ты? Он же мог отвезти Лизу к отцу?

– Ну да. Я тоже спросила его. В общем, ты прав, там всё очень странно. Отец про девочку ничего не знает. Похоже, девочка родилась уже после того, как они разошлись.

Я снова начал постепенно заводиться.

– Ты меня слышишь? Федя никогда не был женат. Мне это точно известно.

– Ну, может, официально не был, просто жили вместе.

Я почувствовал, что мой мозг начинает закипать.

– Да не жил он ни с кем вместе! Не жил!

– Что ты на меня кричишь? – обиделась Аэлита. – Я-то в чём виновата? В том, что мне девочку жалко?

Из глаз Аэлиты обильно полились слёзы, ротик скривился в болезненной гримасе. Люди, сидящие за соседними столиками, начали оборачиваться на нас. Моё сердце мучительно сжалось. Как всё-таки глубоко сидят в нас инстинкты, подумал я. Ещё сегодня утром я был так зол на неё. Я не хотел её видеть. Я не хотел иметь с ней ничего общего. А сейчас её слёзы

смыли мою обиду. Более того, сейчас мне хотелось её как-то защитить, укрыть, хотя я сам был причиной этих слёз. Я придвинулся к Аэлите и обнял её за талию.

– Ну прости... Я дурак.

– Да нет, ты не дурак, – подавляя остатки всхлипов, прошептала Аэлита. – Ты не дурак, я могу тебя понять.

– Почему ты мне сразу не сказала?

– Сначала Федя попросил не говорить, он же тогда ещё не знал, что да как.

– Это не причина. Ну ладно, а потом?

– Потом ты уехал. Куда бы я тебе сообщила? На деревню дедушке? А потом ты сам не захотел ничего слушать. Ты был такой чужой... Я думала, всё... Больше мы никогда не сможем поверить друг другу.

– А теперь не думаешь?

– Нет. Теперь не думаю. Ты занят сегодня вечером?

– Не особенно. Хочешь куда-нибудь сходить?

– Не хочу. Мы сейчас пойдём ко мне. И я тебя никуда не отпущу.

Обессиленные, мы лежали на неширокой казённой койке – стандартном инвентаре малосемейки. Я – на спине, одной рукой обнимая Аэлиту, а вторую положив под голову. Она, закинув на меня ногу и дыша в ключицу, рисовала у меня на груди загадочные знаки. Я думал о том, как странно всё связано в жизни. Ведь зачастую какие-то второстепенные персонажи, намеренно или ненароком разделившие двоих испытывающих взаимное влечение людей, на самом деле только подталкивают их друг к другу.

– А хорошо, что сегодня пятница, – сказала Аэлита, – Я вот тут подумала, что завтра утром мне, возможно, было бы стыдно за сегодняшнюю распущенность.

Я ничего не ответил, только крепче обнял её.

– А поскольку завтра суббота, можно спать до обеда. И завтра утром мне не будет стыдно – я же буду спать!

– Аэлита... – умиленно прошептал я.

– Что, мой повелитель? – нежно отозвалась подруга.

– Ты хоть знаешь, как её зовут? Не Ирой?

– Кого?

– Ну вот эту, как ты её называешь, «бывшую».

– Да нет, не знаю. Это не я, это Федя её так называет.

– А по имени, что, не называл?

– Нет. Имя он никогда не упоминал.

– Чёрт! Кто же это мог быть?

Х

На четвертом курсе Федя чуть было не женился. Он бы и сделал это, пожалуй, если бы родители не приняли в штыки его избранницу. Впрочем, существовало и ещё одно обстоятельство, о котором я узнал уже потом, и которое также способствовало расстройству Ирочкиных затей с построением ячейки общества. Бурный роман стартовал как раз в тот период, когда Достоевский переживал очередной удар судьбы, вновь разочаровавшись как в жизни вообще, так и в разумном человечестве в частности, особенно женской его половине. А всё оттого, что незадолго до этого он получил обидную отставку. Вот потому-то и последующие события развивались несколько непривычно, и даже шаблон очарований-разочарований у Феде дал сбой. Если обычный процесс предполагал некий вектор перехода от телячьего восторга к желчному цинизму, то на сей раз, наоборот, всё началось с цинизма, за которым последовал восторг, и уж только потом цинизм вновь возродился и восторжествовал как заключительный элемент цикла. Надо, впрочем, заметить, что и Ира Генералова не была похожа на стандартный типаж, которым обычно очаровывался Достоевский. Чисто теоретически, ему нравились целомудренные девушки, наивные до идиотизма, девственные душой и телом. Я говорю «теоретически», потому что практика Фединых влюблённостей немного недотягивала до этого возвышенного эта-

лона. Но всё же и не слишком от него отклонялась – не считая Иры. Она была смелой, по-уличному смыслёной, с крупными, хотя и не рубенсовскими, формами, громким задорным смехом и большими блудливыми васильковыми глазами на слегка веснушчатом лице. Она была чем-то похожа на рыжих красоток Альберто Варгаса, прекрасных и греховных, и поэтому Фёдор даже на пике своей влюблённости не мог, как это было ему свойственно, поклоняться ей как гению чистой красоты. Её образ невозможно было представить висящим на гвоздике в воображаемом красном углу Фединога пантеона, гвоздик не вбивался. Она слишком отличалась от его непорочных богинь. Дилемму полового вопроса, как утверждали её приятельницы, якобы с её же слов, Ира решила для себя ещё в девятом классе. Я сказал «приятельницы», а не подруги, поскольку Ира никогда не была замечена в женской солидарности, и, соответственно, представляла слишком большую опасность как потенциальный троянский конь, чтобы другие девушки хотели водить с ней компанию, так что подруг у Иры не имелось. Зато недоброжелательниц хватало. Кое-кто из них называл её шалавой и утверждал, что она спит со всеми подряд. Это, конечно, было преувеличением; спала Ира вовсе не со всеми подряд, а только с теми, кто ей нравился. Но нравились ей многие. Причём, Генералову ничуть не интересовало, «свободен» ли очередной кандидат. А это иногда приводило к конфликтам, например, одна третьекурсница, оскорблённая изменой своего молодого человека, некоего Вани Смагина, подстерегла Иру в коридоре общежития и надавала ей пощёчин. Впрочем, это был единственный случай, о котором было что-то достоверно известно, остальное муссировалось на уровне слухов.

Любой знающий Фёдора человек ни за что не поверил бы, что у Иры есть хотя бы малейший шанс завладеть его сердцем, и, однако же, это случилось. Первый шаг к сближению сделал подвыпивший Фёдор на факультетской дискотеке, и это обстоятельство немаловажно, потому что, как бы ни был вульгарен Достоевский в своей жлобской ипостаси, в трезвом виде

ему всё же не хватило бы наглости, чтобы так беззастенчиво клеить незнакомую девушку, пусть даже этой девушкой была Ира. Фёдя пригласил Иру на медленный танец и, притягивая за бёдра, стал нашёптывать непристойности. Но Генералова, при всём своём свободомыслии, не любила грубости, особенно если в этой грубости был хоть малейший намёк унижения, поэтому она молча оттолкнула Фёдора и отошла к стене. Фёдя, однако, проявил упорство и, проследовав за ней, сказал:

– А я вот, между прочим, недавно прочёл Евангелие.

Это было несколько неожиданным заявлением после похабщины, которую Фёдор за минуту до того нашёптывал девушке на ушко, поэтому она поддалась на его уловку.

– И что? – спросила Ира без какой бы то ни было враждебности и даже с некоторым любопытством.

– Мне нравится. Хорошая книжка. Особенно одно место. Там Христос говорит, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём. Так что я тебя уже того.

– Что «того»? – принимая вызов, спросила Ира, которую начинала увлекать эта игра.

– То и есть, что «того», – немного смутившись, ответил Фёдя и, понимая, что этот раунд он проиграл, тихо ретировался.

Может, этим эпизодом всё и закончилось бы, но дальше истории суждено было развиваться наподобие пошлого водевиля. Правда, наша парочка не застревала на два часа в лифте и не оказывалась совершенно случайно в купе поезда дальнего следования, но, по не менее фантастичной иронии судьбы, через несколько дней они были совершенно независимо друг от друга откомандированы деканатом на оформление районного избирательного участка. Оформление затянулось допоздна, и как-то так вышло, что Фёдя с Ирой задержались на общественно-полезных работах дольше остальных. Вот там-то, под сенью знамён и под строгим взглядом гипсового вождя, Достоевский и приобрёл свой первый сексуальный опыт, и был этим опытом настолько потрясён, что его пуританское

мировоззрение рассыпалось в пыль. По всем правилам, он должен был ужаснуться своему падению. Но нет. Он воспылал страстью. Причём настолько сильно, что через два-три месяца стал поговаривать о женитьбе. Впрочем, Серёга Стрельцов утверждал, что Федя страдает особой формой психического расстройства – хочет жениться на всём, что шевелится. Это утверждение было, разумеется, ничем иным, как глупой шуткой, но в нём содержалась доля правды. Достоевский и в самом деле начинал демонстрировать «серьёзные намерения», как только возводил предмет своей любви в статус сказочной принцессы. Но в случае с Ирой для этого превращения требовалось как-то осветлить её моральный облик. Полностью игнорировать реальность Фёдор был не в состоянии. Да и не мог же он так скоро забыть, что во время знакомства именно предполагаемая доступность Иры составляла для него существенную часть её привлекательности. Кроме того, при всей своей неопытности, он не мог не понимать, что акробатические этюды, которые так виртуозно исполняла Ира в постели, требовали сноровки. А знание, увы, обладает тем неприятным свойством, что, однажды приобретённое, оно уже не может исчезнуть, даже если этого очень хочется. Со своей стороны, Ира, которая поначалу даже и помыслить не могла, что тривиальная интрига может привести её к выгодному замужеству, задним числом сожалела, что не предстала перед Фёдором неискущённой юницей. Но и тут уже ничего нельзя было исправить. Теперь Достоевскому был нужен миф. И он его создал. Отныне подразумевалось, что подлец Ваня Смагин, будучи первой любовью легковёрной Ирочки, воспользовался её доверчивостью, а потом бросил несчастную девушку. Что касается прочих связей Иры, то их попросту не существовало, все разговоры об этом были ничего не значащими лживыми и беспочвенными наветами. Скорее всего, это мифотворчество было вызвано глубокими психологическими причинами, но у него имелась и практическая сторона: без финансовой поддержки молодой семье пришлось бы туго, а на помощь почти

никогда не просыхающих Ириных родственников не стоило рассчитывать. Феде позарез было нужно, чтобы невесту одобрили его родители, а те не отличались широтой взглядов насчёт свободной любви. Михаил Фёдорович и Анна Ивановна отнеслись к планам женитьбы без восторга, но и без предубеждения, пригласив Ирочку провести несколько дней у них дома. Результатом этого визита было единодушное и категоричное неодобрение – всё же Ире не удалось скрыть под личиной напускной скромности прекрасную и греховную куртизанку в стиле Альберто Варгаса. Ирочка какое-то время не сдавалась: в конце концов, зачем современному человеку, вступающему в брак, домостроевское благословение родителей? Но тут и сам Фёдор неожиданно упёрся, и даже попытка продавить Достоевского на женитьбу «по залёту» не имела успеха. В то время у меня с Федей были весьма натянутые отношения, поэтому большую часть информации о личной жизни Достоевского я получал от наших общих приятелей. Серёга Стрельцов, от которого я знал об Ирином шантаже и о последовавшем вслед за тем полном разрыве отношений с Фёдором, был уверен, что она блефовала. Но, может быть, он всё-таки ошибался?

XI

Всю субботу мы провели с Аэлитой у неё дома, только вскочили на пять минут купить кое-какой еды. А в воскресенье я её обманул. Я сказал Аэлите, что ещё даже не начинал писать командировочный отчёт, а в понедельник мне его сдавать. Но отчёт был давно написан и лежал в ящике моего рабочего стола. Я шёл к дому Достоевского, и в сумке у меня тихонько побулькивали две бутылки водки. Мне нужна была Фекина тайна, я больше не мог ждать. Я ещё не знал, что нужно для этого сделать. Умолять Достоевского? Напоить его? Может быть, пытать? Но сегодня я должен был получить ответы на мучившие меня вопросы.

Фёдор распахнул дверь и сделал приглашающий жест.

– Проходи. Я знал, что ты придёшь.

Я вытащил из сумки водку и слегка ударил друг о друга донышками бутылок. Раздался глухой стук, как при столкновении булыжников.

– Выпьем?

– Обязательно. Сейчас соберу что-нибудь на стол. Рассказывай.

– Нет, это ты рассказывай! – Внезапно я решил взять быка за рога. – Мы ведь жили в одном блоке, и ты всегда был у меня на виду. Ну, почти... Но я не мог не заметить. Давай, выкладывай. Скажи мне про Лизу. Ира всё-таки не обманывала тебя тогда?

Достоевский молча покачал головой, прежде чем ответить.

– Нет. Ира здесь ни при чём. Лиза – Танина дочь.

– Но как?

Таня Панина перевелась к нам из другого вуза, поэтому пришла сразу на третий курс, в то время как мы с Фёдором учились годом старше, на четвёртом. По чистой случайности Таню подселили в комнату Фединой одногруппницы Лиды Мишариной, и Достоевский, однажды забежав к Мишариной по дороге в кинотеатр, чтобы вернуть взятый взаймы конспект, никуда в тот день уже не пошёл. Он сидел и пялился на Таню, под разными предлогами затягивая свой визит. Правда, ровно в одиннадцать, после двух чаепитий, нескольких прозрачных намёков и демонстративных зевков, Мишарина напрямую сказала Фёдору, что хочет спать, и ему пора откланиваться. Но и назавтра, и в последующие дни Федя приходил к Лиде в гости регулярно – почти как на работу, только без выходных. Вернее, это только так предполагалось, что он приходил к Лиде, на самом же деле Лида была лишней в этих посиделках, и, конечно же, прекрасно это понимала. Но Мишарина, будучи зубрилой и отчаянной домоседкой, кроме того, отличалась невозмутимостью и крепкими нервами, так

что менять свой распорядок дня из-за непрошенных гостей она не собиралась. Правда, в тех редких случаях, когда её терпение иссякало, Достоевскому указывали на дверь. Таня при этом вела себя совершенно пассивно, казалось, происходящее её лишь развлекает в какой-то степени, но уж никак не задевает лично. Что касается влюблённого Феде, то он в очередной раз изменился и внешне, и внутренне. Мало того, что он стал снова говорить витиеватыми фразами, так ещё купил себе длиннополое пальто, кашне, ваксу и крем для обуви, а таких диковинных вещей до той поры в нашем блоке никогда не бывало. Ситуация с навязчивыми визитами изменилась, когда в поисках недостающего игрока для партии в парчис я пошёл вытаскивать Фёдора от Мишариной. Достоевский с полуслова замахал руками и лаконично отказался, но вот Таня совершенно неожиданно предложила себя в качестве замены. Не знаю, как в других местах, а у нас в институте игра в парчис, называемый в менее уважаемых слоях общества «мандавошкой», был очень модным поветрием в описываемый период. Как выяснилось позже, Таня и раньше увлекалась парчисом, а с тех пор стала нашим постоянным четвёртым игроком, показывая очень хорошие результаты. Обычно мы с ней играли в паре, и вскоре стали признанными чемпионами, по крайней мере, в пределах общежития. Иногда Федя, который немедленно превратился в заядлого парчиста, выклянчивал у меня право поиграть в паре с Паниной, и она, хотя и неохотно, соглашалась на замену. Обычно же он играл против нас, что уже само по себе представляло забавное зрелище, потому что даже если Таня совершала ошибку, Достоевский рыцарственно делал вид, что не замечает промаха и не пользовался плодами её оплошности, вызывая справедливую досаду своего партнёра. Словом, это был не только парчис, но ещё и цирк в придачу, и именно это обстоятельство послужило началом нашего очень непринуждённого и органичного сближения с Таней. Как и я, она находила бескорыстное удовольствие в том, чтобы наблюдать за людьми, подмечать их забавные черты и проследивать

мотивы поступков. Вскоре у нас с ней появилась привычка с хитрой улыбкой переглядываться и перемигиваться друг с другом, как только в поле зрения появлялось что-то интересное, и не только во время игр, но и в любой компании, где мы бывали вместе. Это перемигивание не всегда ускользало от внимания Феди и приводило его в ярость, что только добавляло остроты, хотя мы никогда не провоцировали его нарочно. Впрочем, никаких романтических чувств я к Тане не испытывал. И не потому, что она мне не нравилась внешне, – в моём представлении она как раз-таки была почти красавицей, в отличие от других пассий Достоевского, – а именно в силу нашей общей склонности к препарированию. Ведь мы всё время подсмеивались не только над окружающими, но и друг над другом, и даже порою над собой, пусть и беззлобно. Более того, мне казалось, что, поскольку я каждый раз бессознательно совершаю это по отношению к ней, то и она делает то же самое в отношении меня, а иронизировать и одновременно быть влюблённым в объект иронии казалось мне невозможным, хотя, как показали дальнейшие события, я ошибался. Через месяц-другой Таня стала отвечать на ухаживания Достоевского, правда, это ограничивалось походами по кафе и театрам, что, во мнении Паниной, совершенно ничего не значило и ни к чему её не обязывало. Чего нельзя было сказать о Фёдоре, – он, напротив, явно преувеличивал значимость своих маленьких побед. Хотя Достоевский и на сей раз страдал излишней робостью, что, повидимому, являлось у него непременным атрибутом периодов романтического обожания, но несколько уже случившихся французских поцелуев были, как ему казалось, залогом того, что однажды они с Таней сольются в экстазе, проживут долгую счастливую жизнь, разумеется, одну на двоих, и умрут в один день. Если бы он набрался смелости и изложил Паниной этот бред, то Таня, с её здоровым цинизмом, скорее всего, посмеялась бы над ним, и, таким образом, разом покончила бы и с надеждами, и с питающими их ухаживаниями. Феде было бы больно, но, как говорил один мой знакомый, лучше пусть

побольнее, но побыстрее. А Фёдор пребывал в счастливом неведении несколько месяцев, вплоть до новогодней вечеринки, которая, как он надеялся, должна была стать вехой в его судьбе, и, в каком-то смысле, действительно ею стала. Предполагаемая эпохальность вечеринки заключалась в том, что Достоевский вознамерился сделать Тане предложение. Вы уже, наверное, догадались, что это должно было произойти под бой курантов – ни больше ни меньше.

Никаких колец в присутствии многолюдной толпы, как это частенько происходит в наши дни, он ей, конечно, не собирался вручать. В ту пору всякого рода обрядная символика была гораздо проще: предложения руки и сердца делались наедине, а кольца зачастую покупались в так называемых «салонах для новобрачных» уже после подачи заявления в ЗАГС, а иногда и не покупались вовсе. Но всё же Федя приготовил для Тани роскошный подарок – старинную финифтевую шкатулку, принадлежавшую ещё его прабабке по материнской линии и, по семейному преданию, якобы переходившую по наследству вступающему в брак старшему из детей, независимо от пола. Шкатулку Достоевский тихонько спёр у матери, когда в последний раз навещал родителей, но, поскольку она предполагалась быть использованной почти по назначению, особых угрызений совести он по этому поводу не испытывал. Учитывая склонность Фёдора к некоторой театральности и дешёвым эффектам, неудивительно, что он предварительно обсудил свои намерения с друзьями, так что все обитатели нашего блока, включая меня, были в курсе мельчайших деталей предстоящей помолвки, заранее разыгранной в лицах. Причём, не считая самого Федю, никто из посвящённых не питал большого оптимизма по поводу Таниного согласия, а Серёга Стрельцов даже прямо высказал свои сомнения. Но Достоевский был настолько в себе уверен, что даже не снизошёл до того, чтобы рассердиться, – только надменно ухмыльнулся в ответ. Тем горше было его разочарование – особенно учитывая, что Панина разбила Федины мечты ещё прежде, чем он успел ей

что-либо сказать. Для начала Таня опоздала на вечеринку почти на два часа, и расстроенный Федя, успевший несколько раз сходить на поиски потерявшейся неизвестно где возлюбленной, к концу второго часа выпил довольно много водки, что, в общем-то, было не типично для его романтической фазы. В конце концов поиски увенчались успехом, но достаточно сомнительным: выяснилось, что Таня всё это время была у себя, просто успевала затаиться, когда слышала шаги Достоевского, входившего из коридора в прихожую. Мишарина уехала отмечать праздник к себе в подмосковный городок, другая комната тоже пустовала, а блоки у нас в общежитии были устроены таким образом, что двери обеих комнат выходили в своего рода тамбур, откуда также имелся доступ в общую душевую, так что из коридора невозможно было определить по бытовому шуму, дома ли обитатели – если, конечно, там не происходило ничего экстраординарного. Таня, вероятно, и на этот раз не открыла бы, но, на беду, громыхнула стулом, когда Федя уже был в прихожей, а он обладал достаточным упорством, чтобы кого угодно вывести из себя непрерывным стуком в дверь. После серии нудных пререканий и упрёков – поскольку тремя днями раньше Панина с готовностью приняла приглашение – Достоевский был вновь изгнан в прихожую, чтобы она могла переодеться. Между прочим, Фёдора не в последнюю очередь раздосадовало именно то обстоятельство, что он застал её в халатике, а не в полной боевой раскраске и в праздничном наряде. Пока Таня переодевалась, Достоевский продолжал сыпать упрёками, доводя её до белого каления. «Ты могла бы предупредить, что не сможешь, если уж у тебя поменялись планы», «могла прийти хотя бы ненадолго, ведь ты же обещала». И так далее. Словом, Фёдор выбрал наихудшую тактику, а вот одну существенную деталь совершенно упустил из виду. Уже позже, когда Фёдор вновь переживал своё унижение, делаясь подробностями со Стрельцовым, он вспомнил, как расстроилась Таня накануне, узнав, что я был в числе приглашённых. Тогда он не придал этому никакого значения, а зря. Достоевский

полагал, что её огорчение было следствием нерасположения между мною и Паниной из-за наших с ней вечных пикировок во время игр в парчис, тогда как дело обстояло с точностью до наоборот, и взаимные колкости доставляли нам большое удовольствие. Впоследствии разгадка Таниного нежелания идти на вечеринку оказалась элементарной, и заключалась в том, что, по крайней мере, в моём присутствии ей не хотелось предстать перед гостями в качестве девушки Достоевского. Но такой унижительный мотив, несомненно, даже не мог прийти Феде в голову, так что он предпочёл более лестное для себя толкование. Как бы то ни было, вечер для него был испорчен, даже не начавшись. Впрочем, в этом была изрядная доля его собственной вины. Если бы не Фебина настырность, то, быть может, всё пошло бы иначе, но теперь ситуация складывалась для Тани даже хуже, чем она предполагала, потому что Достоевский лишил её возможности появиться на вечеринке независимо от него. Более того, знакомя девушку с некоторыми из гостей, он держал руку на её талии, чем и спровоцировал последующий ход событий. В какой-то момент, когда полуобъятие Фёдора показалось Тане чересчур фамильярным, она с силой оттолкнула его от себя и в течение всего вечера старалась держаться настолько далеко, насколько позволяли размеры помещения. Садясь за стол, Панина выбрала место рядом со мной и неустанно одаривала меня благосклонным вниманием. Пока мы провожали старый год, Достоевский наблюдал за мной и Таней из противоположного угла, глядя на неё с укором, а на меня чуть ли не с плохо скрываемой злобой, чем, в конце концов, вызвал ответную реакцию – не в том смысле, что я собрался что-то предпринять, а в том, что моё сочувствие к нему сменилось мстительной насмешливостью. Всё же я спросил Таню:

- Зачем ты его мучишь?
- Затем, что он дурак.
- Вовсе нет. Просто он в тебя влюблён.
- Что из того? Влюблённый мужчина похож на овцу.

– Ладно, пусть так. Поступай, как знаешь. Но мне не нравится, когда люди выясняют отношения за мой счёт.

И тут она очень серьёзно посмотрела мне в глаза.

– Ты ошибаешься. Я не выясню отношения за твой счёт. Ты мне нравишься. Очень нравишься. Давно.

– А как же Федя?

– А Федя просто помог мне сказать тебе об этом сегодня. На этом его роль закончена.

Она ошибалась. Роль Феде отнюдь не была закончена, несмотря на то, что сейчас он сидел совершенно пьяный, с плаксивым выражением лица. Но кто бы мог предположить? Во всяком случае, не я, тем более, что у меня в тот момент было состояние парения. Вероятно, отчасти от выпитого, но отчасти и из-за эйфории, которая, как мне кажется, охватывает любого парня, когда красивая девушка признаётся ему в любви. А Таня, как я уже говорил, была очень привлекательна. Невысокого роста, но грациозная, длинноногая, лёгкая в движениях, с миндалевидными зелёными глазами и губами цвета коралла на чуть смугловатом лице. Наверное, от этого я на какое-то время потерял ощущение реальности.

Потом мы танцевали, и Таня доверчиво прижималась ко мне. Потом снова пили, поздравляли друг друга с Новым годом, снова танцевали, и тут, обвив мою шею руками, она впилась своими коралловыми губами в мои губы, не обращая внимание на недоуменные взгляды окружающих. Потом Достоевского, который напился в дрова и упал со стула, отнесли в другую комнату и положили на кровать, а Таня, воспользовавшись возникшим переполохом, решительно взяла меня за запястье и увела к себе. По дороге мы целовались через каждые несколько шагов, так что путь к ней оказался хотя и не длинным, но долгим. Как только мы оказались в комнате, Таня начала срывать с себя одежду, одновременно расстёгивая мой брючный ремень. И тут, несмотря на охватившее меня возбуждение, мне ясно представились последствия этой ночи. Если бы Таня легко относилась к любовным приключениям,

я бы, не колеблясь, разделил её пыл. Но это было не так. Что я мог ей предложить? Да, она была действительно красива, и даже в полумраке комнаты, освещённой снаружи неярким светом уличных фонарей, я видел, как прекрасно её гибкое тело, и эта маленькая грудь, и плоский живот, и мысок, темнеющий чуть ниже, и безупречные контуры стройных ног. Но ведь этого недостаточно. Зная Таню, можно было не сомневаться, что её толкает ко мне искреннее и сильное чувство, но, увы, оно было неразделённым. И мне уже заранее было известно, что, пусть не завтра, пусть через месяц или через два, но мне наскучит эта связь. Таня будет мучиться, выклянчивая то, чего у меня нет и не будет, и я буду мучиться, стараясь выдать эрзац за что-то настоящее. И всё-таки в тот момент мне было бы не отвертеться, если бы не громкий шорох за дверью. Увлёкшись, мы не слышали, что кто-то вошёл в прихожую, но, впрочем, ничуть не удивились, когда прозвучал голос Достоевского. Удивительным было только то, что он так быстро пришёл в себя после алкогольной отключки, восстав, как птица феникс из пепла.

– Таня, открой! – заплетающимся языком повторял Фёдор, перемежая слова ударами кулака в дверь.

– Федя, иди проспись, – крикнул я ему в ответ из-за закрытой двери.

На какое-то время воцарилась тишина. Потом раздались удаляющиеся шаги и ещё какой-то звук, напоминающий рыдание.

– Ты знаешь, я тоже пойду, – сказал я Тане, поправляя на себе одежду. – Прости.

Не считая утраты фамильной шкатулки, которую Достоевский, будучи в нетрезвом виде, где-то выронил в довершение к другим своим несчастьям, этим и ограничилась история, из-за которой Федя не разговаривал со мной целых пять с лишним лет. Немного позже она, правда, имела кое-какие отголоски, но ничего существенного не произошло, хотя предпосылки для этого имелись. Панина пришла ко мне наутро, чтобы позвать на завтрак, и я послушно последовал за ней, но больше

между нами ничего не было. Таня попыталась подставить мне губы для поцелуя, как только мы остались одни, однако я уклонился и отрицательно покачал головой.

– Почему? – спросила Таня.

– Чехов не велел, – ответил я, – сказал, что нельзя давать поцелуя без любви.

– А вчера?

– Вчера я был пьян, а сегодня всё под контролем.

– Мне всё равно, – сказала Таня, взяв меня за руки. – Мне всё равно. Пусть без любви.

– А мне не всё равно, – ответил я.

– Тогда уходи, – сказала Таня.

И я ушёл.

После этого я сталкивался с Паниной только случайно. В общих компаниях я её с тех пор не встречал, да и в парчис она больше не играла. Впрочем, это и хорошо, потому что видеть её мне было бы тягостно. Достоевский, как я это знал от Стрельцова, некоторое время сторонился Тани, подозревая её в продолжающихся близких отношениях со мной, но чуть позже, месяца два спустя, пытался возобновить ухаживания, которые Панина немедленно и твёрдо, хотя и довольно доброжелательно, отвергла. К тому времени Таню уже несколько раз встречали в обществе некоего Андрюши Маркина. Вероятно, это обстоятельство имело какое-то значение для Феде, по крайней мере, Стрельцов говорил, что Достоевский считал ниже своего достоинства отбивать Таню у меня. А вот теперь можно было попытаться. Маркин представлял из себя тип внешне довольно плюгавого, но ушлого молодого человека, который раньше подвизался на разных ролях в профсоюзной организации института, а в описываемый период был председателем одного из так называемых «молодёжных кооперативов». Кроме этого, он, как говорили, «подрабатывал на дому», ссужая крупные суммы денег под проценты.

– Я, наверно, должна чувствовать себя виноватой перед тобой, но не чувствую, – сказала Панина в ответ на Федино

приглашение где-нибудь посидеть, – уж извини. И не зови меня никуда, пожалуйста. Я этого не хочу.

– Почему? – спросил Федя. – Твой Андрюша, он что, лучше меня?

– Лучше.

– А знаешь, что я тебе скажу? – горячо ухватился за её ответ Федя, не замечая, что противоречит собственной логике. – Люди, которые ищут лучшего, всегда бывают предателями, вот так-то!

– Может быть, – сказала Таня, – но это – когда любишь. И когда предаёшь любимого. А когда не любишь, то поиск лучшего – не предательство.

– А ты его не любишь?

– Нет.

– Тогда зачем ты с ним?

– Ну, нужно же когда-то начинать жить? Выходить замуж. Рожать детей. Особенно, когда твоя собственная любовь всё равно безответна. Тогда ты выбираешь лучшего, просто лучшего, без любви. А из вас двоих он лучший.

– И чем же, интересно?

– Умнее. Дальновиднее. Вообще перспективнее, понимаешь? Не обижайся. Ты очень милый. Но делать на это жизненную ставку просто глупо. Вот если мне когда-нибудь будет совсем плохо, я, возможно, приду к тебе за утешением.

– А почему не к Виктору?

– К этой бесчувственной скотине? Ну уж нет!

– А как же любовь?

– А любовь не выбирает. Мы ведь об этом уже говорили. И не ищет лучшего.

Вот и всё, что я знал о несостоявшемся романе Тани и Достоевского. Но, оказывается, там был ещё целый пласт весьма странных отношений, которые ни один из них не афишировал, и не без причины.

Таня вскоре вышла замуж за Андрюшу, потом родила девочку и ушла в академический отпуск. С тех пор я её не видел, хотя

и знал понаслышке, что Андрюша проявил недюжинные способности в бизнесе, в числе первых организовал совместное предприятие с международной компанией, владелицей которой была симпатичная, богатая и предприимчивая немка, наша ровесница, и с её помощью заработал много денег. Что, повидимому, заставило Андрюшу задуматься о своей дальнейшей судьбе. Во всяком случае, он весьма талантливо развёлся с Таней, оставив её без гроша, правда, уступив квартиру, а затем женился на немке и уехал за границу – наверное, Андрюша тоже имел склонность выбирать лучшее.

XII

Мы сидели за столом уже третий час, а Фёдор всё ещё тянул свою повесть, и не потому, что она была настолько длинна и запутанна, нет. Просто его переполняли эмоции, и он часто и беспорядочно возвращался к тем или иным событиям, причём делал это без всякой хронологической системы. Но постепенно мешанина разрозненных сцен приобрела краски и закономерность причинно-следственных связей. А дело было так.

Настал день, когда Тане, действительно, было так плохо и так одиноко, что она пришла за утешением к Достоевскому. А может быть, она просто была пьяна, поскольку до этого уже пыталась найти утешение в бутылке красного вина, но то ли одной бутылки оказалось недостаточно, то ли Тане всё же требовалось чьё-то участие. Сначала всё складывалось хорошо. Федя был в комнате один. Все остальные жители нашего блока убыли в Киев на производственную практику, а Фёдор с разрешения деканата задержался на недельку, чтобы разделаться с «хвостами» от предыдущей сессии. Да и Ира Генералова очень кстати уехала на два дня в деревню к своим родственникам – между прочим, как раз для того, чтобы сообщить, что собирается выходить за Достоевского замуж.

– Привет! – сказала Таня, то ли улыбаясь, то ли плача, то ли улыбаясь и плача одновременно. – У тебя есть какая-нибудь выпивка?

До момента встречи Достоевский считал, что его нежные чувства к Паниной давно исчезли. А тут оказалось, что всё живо и что его с головой захлёстывает волна радости, хотя он даже не знал, зачем Таня здесь появилась и надолго ли она пришла. Выпивки у Феди не было, но он без лишних вопросов усадил гостью за стол, попросил подождать, через несколько минут вернулся с взятой взаймы у соседей под честное слово початой бутылкой белого чинзано, разлил вино по стаканам и только тогда спросил, глядя на Танино заплаканное лицо в потёках туши:

– Что случилось?

– Представляешь? – сказала Таня. – Он меня бросил.

Постепенно выяснились размеры катастрофы. Андрюшиной маме не понравилось, что её сыночек строит планы совместной жизни с какой-то провинциальной барышней, с какой-то «презренной лимитчицей», которая, как было ею заявлено, вертела перед ним жопой и обманом втёрлась в доверие ради прописки. И не рассказывай мне, добавила мама, какая она хорошая, знаю я таких хороших! И запомни, Андрюшенька, ноги её не будет в нашем доме, пока твоя мама жива. После недели усиленного промывания мозгов, в котором были задействованы такие мощные средства, как упрёки в неблагодарности, звонки родственников, а также сердечные приступы бабушки, Андрюша «поплыл». Его можно было понять: парень вырос в неполной матриархальной семье, где власть принадлежала матери, а нравственный суд всегда вершила бабушка. В такой обстановке сложно сформировать нордический характер. Короче говоря, вердикт был вынесен, и Андрюше оставалось его только огласить. Что он и сделал, пригласив Таню в кафе, куда та вошла полной приятных предвкушений и откуда вышла с израненной душой.

Нужно отдать Феде должное, он был безжалостно откровенен со мной в этот вечер. И честно признался, что совсем

не огорчился такому обороту событий. Напротив, это вызвало у него целый фейерверк радужных надежд. Разумеется, он ничем не выдал своего удовлетворения, наоборот, изо всех сил изображал сочувствие, но его сердце, переполненное счастьем, восторженно пело. Когда Таня спросила, нет ли у него валокордина, чтобы помочь ей успокоиться, Федя ответил, что валокордина нет, и не нашёл ничего лучшего, чем залезть в мою тумбочку и предложить ей лошадиную дозу димедрола, препарата, который я принимал от сенного насморка, но который, насколько это было известно Феде, в повышенных дозах имел и седативный эффект. К счастью, Достоевский не отравил Таню насмерть. К несчастью, он не знал, что в сочетании с алкоголем димедрол вызывает сильную сонливость и даже бред. Федя не рассказывал в подробностях о том, что происходило дальше и насколько поступки Тани можно было приписать лекарству, но, в конечном счёте, она оказалась с Достоевским в постели, и он стащил с неё джинсы и трусики. Фёдор понимал, что Таня не вполне адекватна и что она балансирует на грани реальности, но остановило его только то, что он перевозбудился и излил свою страсть на Танину футболку ещё до того, как успел её снять с почти бесчувственного тела. Бесчувственного – поскольку Таня уже окончательно провалилась в дурман глубокого сна. К тому времени и Достоевский успел сообразить, что происходит что-то не то. Испугавшись, он хотел было вызвать скорую, но и эта перспектива его страшила, поскольку пришлось бы отвечать на множество неприятных вопросов, а последствия ответов были бы совершенно непредсказуемы и могли закончиться крупными проблемами. Поэтому он всю ночь просидел на кровати, глядя на Панину, прислушиваясь к её дыханию, щупая пульс и поднимая ей веки, – словом, проделывая все те глупости, которые всегда проделывают не сведущие в медицине люди, – пока, при первых лучах рассвета, не удостоверился, что действие таблеток, скорее всего, закончилось, и ничего страшного уже не произойдёт. Тогда он пристроился рядом с Таней и забыл-

ся на несколько часов, а когда проснулся, то увидел, что его возлюбленная неподвижно лежит на спине, глядя в потолок широко раскрытыми глазами и, судя по строгому и немного отчуждённому выражению лица, пробуждение рядом с Достоевским не доставило ей буйной радости. Впрочем, если она и жалела о чём-то, то ничем не выдала своего огорчения. Скорее всего, Панина просто приняла к сведению имеющуюся реальность, ведь никакой другой, про запас, у неё не было. А сейчас, если называть вещи своими именами, она, одетая лишь в тёмно-голубую футболку, заляпанную красноречивыми пятнами, находилась в одной постели с совершенно голым парнем, который хоть и не слишком ей нравился, но хотя бы был в неё влюблён, а Андрюша предпочёл разорвать с ней отношения, нежели ссориться с мамой и бабушкой. Значит, случилось то, что случилось, и пройден ещё один крутой поворот, и не случайно сегодня понедельник, и обновлённая жизнь продолжается, хотя и складывается довольно бестолково. Умывшись и наскоро выпив предложенную Достоевским кружку горячего крепкого чая, Таня упорхнула по институтским делам, сказав, что к вечеру вернётся. И хотя Феде очень хотелось быть рядом с Таней в то многообещающее утро, полное оптимистичных упований, он предпочёл остаться дома. На то у Фёдора имелись свои причины, а отсутствие Паниной было ему только на руку: чуть позже полудня должна была вернуться Ира, и Достоевский хотел покончить с объяснениями до наступления вечера. Он полагал, что Ира, как минимум, устроит ему скандал, и, может быть, даже скандал с нанесением побоев, но всё обошлось.

– Ты знаешь, сказал мне Фёдор, – это, наверное, был первый раз в моей жизни, когда я остро чувствовал собственную низость. Я, конечно, и раньше совершал какие-то скверные поступки, но всегда либо импульсивно, либо неосознанно, либо при этом существовали какие-то смягчающие обстоятельства – так что мне нетрудно было найти себе оправдание. А тут все мотивы лежали как на ладони. Ещё накануне,

говоря с Таней, я горячо и вовсе не лицемерно осуждал Андрея, называл его подлецом, а теперь собирался поступить точно так же. Хотя нет, я поступал гораздо хуже. Он, по крайней мере, уступал давлению родственников. А ведь мне родители, в общем-то, не препятствовали. Да, они дали понять, что Ира не произвела на них хорошего впечатления, и что они мечтали не о такой невестке, но они, тем не менее, не запрещали мне действовать так, как я хочу. Они говорили, что, вот, такое у нас мнение, но жить-то с ней предстоит тебе – решай сам. А я спрятался за их спины, когда объяснял Генераловой причины разрыва. Дескать, родители категорически против. Что они якобы пригрозили мне: пойдёшь против нашей воли – ты нам больше не сын. И вот, я оболгал отца и мать только потому, что струсил, а ведь мог бы сказать правду: люблю другую, прости, что сделал тебе больно. Не знаю, было ли бы это лучше для Иры, но, по крайней мере, это было бы порядочнее.

К чести Генераловой и вопреки ожиданиям Фёдора, она не стала устраивать ему скандала. Более того, он даже не был удостоен развёрнутого ответа. Достоевский долго и мучительно собирался с духом, предполагая и выверяя все возможные варианты грядущей ссоры. Но как только Ира появилась на пороге и он выложил ей, почему они не могут быть вместе, та резко повернулась на каблуках и вышла из комнаты, оставив после себя терпкий запах «Опиума», духов, подаренных ей Фёдором всего лишь неделю назад. С тех пор этот запах навсегда стал неприятен Достоевскому, ассоциируясь с чувством стыда. «Разговор ещё не кончен» – вот такой была одна-единственная фраза, которую Ира бросила, уже повернувшись, чтобы уйти.

Несмотря на необходимость выяснять отношения с Генераловой, Федя весь этот день был счастлив. Но это ещё не всё: после ухода Иры Достоевским овладело чувство какой-то нереальной эйфорической лёгкости – как будто он сбросил с себя тяжкий груз, который таскал настолько давно и с которым так свыкся, что уже забыл ощущение былой свободы. Ему

захотелось сделать что-то необыкновенное. Украсить комнату цветами и гирляндами, приготовить на ужин какое-нибудь фанфаронское блюдо, кролика в сметане, например. Достоевский сходил в магазин, купил цветы, кое-какие продукты и бутылку шампанского. Вернувшись, он вымыл полы, а перед ожидаемым приходом Тани нашпиговал и поставил в духовку курицу – от гирлянд и кролика он, по здравом размышлении, решил отказаться. И стал ждать. Проходили секунды, минуты и часы, но Таня не возвращалась. Как сказал мне Федя, его счастье длилось ровно сутки, с семи часов прошлого вечера до семи часов следующего дня. Он, конечно, продолжал ждать Таню и потом, но теперь он ждал её с тяжёлой безнадежностью, или, вернее, с твёрдой уверенностью, что она уже не придёт. Она не пришла.

XIII

Фёдор сказал мне, что на следующий день он уже и не пытался найти Таню, он даже не взял на себя труда дойти до её комнаты. Каким-то образом он знал наверняка, что всё конечно, что больше она никогда не придёт. Но к исходу третьего дня Панина вновь постучала в его дверь. Она пришла попросить прощения, но её капитуляция не была безоговорочной.

– Поверь, – начала Таня, после того, как Достоевский сухо ответил на её приветствие, – мне очень неприятно, что я с тобой так поступаю. Но ты послушай, что я скажу. Я точно знаю, о чём говорю, потому что раньше и я думала точно так же, как ты. Если мы кого-то сильно любим, то нам кажется, что они нам что-то должны. Но они нам не должны. И я ничего не должна тебе, так же, как и какой-то другой человек ничего не должен мне. Спасибо за то, что ты был рядом, я думаю, ты помог мне не наделать глупостей. А я могла бы, я была к этому близка. Но теперь я уйду. И ещё я считаю, что не могу уйти, не рассказав тебе, что произошло, ты имеешь право это знать.

А произошло только то, что Андрюша всё же пошёл наперекор желаниям мамы и бабушки, но не совсем обычным способом. В тот же день, когда произошла размолвка с Паниной, его озарил, как он выразился, гениальный план. Он «отжал» – именно это слово употребила в своём рассказе Таня – квартиру у одного из своих должников, который затягивал выплату долга. Раньше Андрюша не поступал так жёстко, тем более что должник был некогда его одноклассником, но теперь, по его словам, «вынужден был пойти на это под влиянием обстоятельств». Впрочем, речь шла о пустой квартире, полученной должником по наследству от тёти, так что в процессе «отжатия» у Андрюши ни на минуту не возникало ощущения, что он выгоняет кого-то на улицу. И поэтому в то утро, когда Таня, выпив горячего крепкого чая, уходила от Достоевского, Андрюша уже покаянно ждал её в институте, с отрепетированной мольбой о прощении, с предложением пожениться и с ключами от «их» квартиры в руке. А пока Федя готовил ужин на двоих, Таня украдкой приезжала за своими вещами, очень надеясь, что не столкнётся с ним где-нибудь в фойе или в лифте.

– Знаешь, – чуть помолчав, продолжил Фёдор, – вот эта Танина назидательность была мне ужасно неприятна. Она знала, что поступает со мной жестоко. Понятно, что Таня была по-своему права – я и не ожидал, что она будет ставить мои интересы выше своих. Но к чему эта демонстрация мнимого морального превосходства? И зачем было говорить, что она мне ничего не должна?

– Она, наверное, просто хотела как-то оправдаться в собственных глазах. Но причём здесь Лиза? Ты так ничего и не рассказал.

– Да ведь я как раз и об этом и рассказываю. Это всё важно, понимаешь? Очень важно. Просто Лиза родилась через девять месяцев после нашей встречи. Плюс-минус. Но ведь у женщин всё так и бывает, плюс-минус. Понимаешь? Сразу-то я не обратил внимания на это совпадение. Но тут вот что про-

изошло. Я же продолжал видеться с Таней, я никому из вас не говорил, но мы иногда встречались. Ну, типа, как друзья. Она мне в тот раз много всего наговорила. Когда приходила со своим вроде как извинением, а, на самом деле, чтобы ещё больше меня унижить, не важно, осознанно или нет. Но не только гадостей, ещё и льстила мне. Сказала, что я очень хороший человек, что навсегда останусь её другом, что мы не чужие люди, что она будет рада меня видеть время от времени. Она же даже на свою свадьбу меня вскоре пригласила, да я не пошёл. Мне бы сразу сказать ей, что я в подачках не нуждаюсь, но я как-то смалодушничал, я же любил её. Но я и тогда чувствовал, что в этой так называемой дружбе есть что-то издевательское, хотя даже сейчас не могу объяснить, что именно. Вот поэтому и не рассказывал ничего никому из наших, вроде меня это не слишком красило.

– И меня поэтому пять лет ненавидел, хотя уже тогда знал, что я между вами никогда не стоял?

– Да нет. Не пять, конечно. Я уже давно на тебя не в обиде. Хотя... Вообще-то я даже за Аэлитой думал приударить. Просто чтобы преподавать тебе урок.

– Не слишком ли самоуверенно? Нужен ты ей! Да и за что урок-то?

– А разве не за что было? Если бы она тебе хотя бы нравилась, а так... Отбил у меня девушку – ни для чего, просто ради шутки, просто чтобы покуражиться. Ну извини, может, я не прав. Но, видишь ли... Я же против Маркина никогда ничего не имел, хотя он тоже за Таней ухлёстывал. Но кто он мне? Никто! А тебя я за друга считал, так что... Разные мерки. Но я продолжу.

– Давай.

– В общем, надо было сказать, что мне подачки не нужны, а я, как сосунок, купился на её пургу. Я же ей безразличен был, она просто хотела хорошей казаться для всех, она о своём душевном комфорте думала, а не о том, чтобы мне помочь. Ну и, понимаешь, во мне тогда сломалось что-то. Раньше я её как-то

возвышенно любил, а теперь вроде бы тоже любил, но и ненавидел одновременно. А прозрение на меня нашло, когда я как-то зашёл к ним домой. Это уже после того, как Таня родила, девочке месяца два было. И я у Лизки на левой лодыжке родимое пятно увидел, когда её Таня пеленала – прямо как у меня. Ну, не на сто процентов, конечно, но очень похожее. Примерно такой же формы, примерно такого размера, и расположенное примерно так же. И вот я сразу подумал: это же только я знаю, что Лиза не моя дочь, а Таня этого знать не может. Потому что всё совпадает, а тут ещё и это пятно. Так что я тоже могу над ней поглумиться. Но сразу в лоб я не стал ничего говорить. Так только, при следующих встречах, когда Лизку видел, начал восхищаться, мол, смотри, у неё ушки мои, у неё ногти мои, у неё разрез глаз такой же. Таня сердилась, но думала, что я шучу. А потом я и при встречах в институте стал у неё спрашивать, как там моя доченька. Панина как раз из академки вернулась на учёбу, а у нас дипломные проекты начинались, так что мы иногда сталкивались, хоть она в общежитии и не жила. Как же она взвилась, когда я в первый раз про Лизу спросил! Заорала, чтобы я не смел, что мои идиотские шутки её бесят, что больше не хочет меня видеть. Ну вот я и сказал ей тогда про лодыжку.

– И как? Поверила?

– Нет. Не сразу. Но в следующий раз, когда мы встретились, отвела меня в сторонку и велела штанину приподнять.

– И что дальше?

– Знаешь, она в шоке была. Очень растерялась. Быстро попрощалась и ушла. Ну а к тому времени, как мы в следующий раз увиделись, уже смирилась, похоже. Даже сама мне стала выкладывать разные подробности. Что Лиза улыбалась сегодня с самого утра, что ползать начала. Ну и всякое другое. Про Лизины успехи, про Лизины болезни. Разное. И, понимаешь, я сначала думал, что расскажу ей про обман, а потом как-то не предоставлялось удобного момента, а потом мне уже смелости не хватило.

– А тебе не кажется, что это было подло?

– Может, и было. А может, и нет. У неё вскоре семейные неприятности начались, да так и не закончились до самого развода. Муж её бросил, ну, ты же об этом слышал. А тут бы ещё я: знаешь, Танечка, я тебе вру уже четыре года, но теперь решил исправиться и повиниться. Легче бы ей было? Я, когда уже институт закончил, по работе очень часто в Москву ездил. Навещал их. Привозил то первую зелень, то игрушки какие-нибудь. Однажды огромного плюшевого кота привёз, Лиза очень радовалась. Кому от этого плохо было? Да и Лиза хорошая девочка, я к ней уже давно привязался.

– А Андрюша?

– А что Андрюша? Он сначала в своём кооперативе всю дорогу пропадал, потом и вовсе исчез. Я его редко видел. Да он и внимания-то на меня не обращал особо – ну друг и друг, без разницы.

– А как тебя Лиза называла? Пока ты ещё не был её «отцом»?

– Дядей Фёдором, как в мультфильме. Она и сейчас меня так иногда называет по привычке. Хотя Таня ей вправила мозги, дескать, дядя Фёдор – это и есть твой настоящий папа. Настоящий, блин.

– А что там у Тани произошло? Это надолго?

– Скорее всего, да. Может, года на два, потом, если повезёт, условно-досрочное... Она была главным бухгалтером, а по совместительству – любовницей генерального. Ну и подписывала, идиотка, всё, что он ей подсовывал. А теперь она на нарах, а он в шоколаде. Ох, как же жалко её, если честно. Она здорово изменилась в последнее время. Но, быть может, всё не так уж и плохо. Время покажет.

– И что теперь?

– Ничего. Будем ждать перемен.

– А других вариантов, что, не было? Бабушек, дедушек? Бывший муж, опять же.

– С вариантами не густо. Бабушек-дедушек нет, поумирили все. А бывшему мужу Таня сама не хочет дочь отдавать. Это же Лизу пришлось бы в Германию отправлять, да и бывшему сво-

ему вместе с его немкой Таня как-то не очень доверяет. Мало ли? Начнут какие-нибудь процессы по лишению родительских прав, с них станется. Таня-то в колонии. Тем более, – Фёдор скорчил физиономию, видимо, изображая Панину, – зачем что-то придумывать, если родной отец есть?

– Но тебе ведь, наверное, тяжело одному с девочкой?

– Да нет, нормально. Мы же с Таней официально опеку оформили, на работе я начальству сказал, что я теперь отец-одиночка. Вроде бы с пониманием отнеслись. Знаешь, все эти подковёрные игры, карьерный рост – это не моё. Да и работник я не слишком усердный – в смысле, на службе не усираюсь. Как идёт, так и ладно.

– Может, тебе Лизу к своему отцу отвезти? Он же на пенсии. Может, и ему будет веселее?

– Нет. Он же вообще ничего ещё не знает. Даже не знает, что со мной Лиза живёт. Я, конечно, собираюсь ему рассказать... Я расскажу, вот только наберусь смелости, и расскажу.

– Слушай, Федя! Но ведь это же не твоя дочь! Ты уверен, что тебе это нужно? Наверное, есть какие-то способы определения отцовства?

Достоевский посмотрел на меня с сожалением.

– Ну а как ты это себе представляешь? Разве дело в определении отцовства? Как я могу отказаться от Лизы? После всего. После того, как я врал Тане несколько лет. Думаешь, она теперь поверит, что я всё это выдумал? Про то, что Лиза моя дочь, про родимое пятно? Конечно, не поверит, она просто посчитает, что я её предал. Нет. Я так не могу. Это же четыре правила арифметики!

На улице давно зажглись фонари. Достоевский ненадолго ушёл, чтобы уложить Лизу спать, потом вернулся назад. Я посмотрел на часы. Пора было прощаться. Фёдор вышел проводить меня до ворот.

– Как там у вас с Аэлитой? – спросил он, закуривая сигарету. – Всё в порядке?

– Ну да. Вот сейчас выйду от тебя – и прямо к ней.

– Передавай привет. Она славная девочка. Жаль только, что дура – в смысле, дура, что с тобой связалась.

– Я тебя тоже уважаю, Фёдор.

– Не обижайся, ты же знаешь, что я прав.

– Не обижаюсь. Привет передам. Пока!

Фёдор сунул мне свою ладонь для рукопожатия и направился было к дому, но, обернувшись, остановился возле ворот и что-то сказал. Я замедлил шаг и, прислушиваясь, подался к нему:

– Что?

– Я говорю, вот так-то, брат.

Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ
(1947 – 2006)

Мои современники
(венки сонетов)

Летучих рифм целительные жала
И тоньше, и изысканнее яд.
Но вся Россия пела Окуджаву,
А что ей Шварц, Кривулин или я?..
Что ей с того, что слез изящны блески,
Что изощрен творительный падеж...
Не рождество у елочек кремлевских,
А лишь реанимация надежд,
И слишком поздно, век затихнет скоро...
И каждый, за свою схватившись боль,
Поймет: не сор мы – сон, мы сонм и город,
Но не Россия... Призрачная роль...

О нас напишут, ведаю заране:
Бескровны жизнь и смерть на поле брани.

Бескровны жизнь и смерть на поле брани
Бездарностей... Есть способ удавить
Еще верней: похоронить заране,
Из поля зренья жестом удалить:
Кого бранить? Кто помнит имена их?..
Всех поглотила черная дыра...
А те, что все же слышали и знают,
Иудин доллар ждут из-за бугра...
Нет, не валюта, валидол в аптеке –
Наш гонорар... Несносен наш союз.
Но в Эрмитаже и в библиотеке
Слагался он под сенью грустных муз...

Жрецы искусств, а пили в ресторане,
О нас напишут, ведаю заране...

О нас напишут, ведаю заране,
Немало всякой горькой чепухи...
А правда в том, что мы не на экране,
Не на трибуне верили в стихи;
Не в кассе: сумма прописью – за веру...
... Через решетки слушая синиц,
Мы, эллины, привыкли к интерьеру
Котельных и смиренных больниц...
Спасая мир от мнимой катастрофы,
Кто там крадется тенью по стене?
Держись, Олег (за что ж еще? за строфы...)
Привет Сереже. Помни обо мне...

Мы сон и сонм – откуда ж эта боль?
Но не Россия... Призрачная роль.

Но не Россия – призрачная роль
Постигла нас, как всех, кто похоронен...
Летим на спиритический пароль,
Пугая холодком потусторонним
Вертевших стол... Игнатова? Нет, тень...
А где сама? Вестимо, за границей?
Да, ваших глаз... И вам на скудный день –
Явление поэта за страницей...
Мы где-то там, где нет границ и лет,
Простите нас, что мы не вездесущи,
И что о вашей жизни на земле
Так мало знаем, – занавес опущен...

И кто-нибудь, рванувший тесный ворот,
Поймет: не сор мы – сон, мы сонм и город.

Поймет: не сор мы – сон, мы сонм и город.
 Как долгов общий памятник – гранит...
 Ты Стикс, Нева... Здесь каждый был и порот,
 И счастлив в детском счастье Аонид.
 Трезв Ширали, Кривулин безбородый
 Уже пророк, но чуда – не конца...
 Мы шли в народ, и в нас была порода,
 Быть может, от небесного отца...
 И кое-что от Глеба и Давида.
 Ты Стикс, Нева, но грех – не без родства...
 Блажен, кто знал: нам тесен мир Эвклида
 Был с первых строк, с ночного озорства.

Кто виноват, что снег проела моль.
 И каждый, за свою схватившись боль...

И каждый, за свою схватившись боль,
 Не слышит даже стонущего рядом.
 И корчится. И сыпет в рану соль.
 И соты мозга наполняет ядом.
 Да, пессимизм, да эгоизм. Да, так.
 Кто не бессмертен, тот не безупречен,
 О чем и стонем... А больничный мак
 На белизне – как там, на Черной речке...
 Дантес – француз, а нас – не чужаки...
 (Что из того, что Аронзон – не Пушкин...)
 О, как улыбки щерили клыки
 В незнавших, что приблизились к кормушкам.

Давно ясна причина приговора,
 Но слишком поздно: век затихнет скоро...

Но слишком поздно: век затихнет скоро,
 Скользнут на дно медузы метастаз...
 Не мы его надежда и опора,
 Не мы ему предстанем в смертный час.
 И нам – не он: воинственный, хвастливый,
 Забывчивый... Но счеты ни при чем.
 Он тоже был доверчивый, счастливый;
 И столь же глух. И так же обречен.
 Хвала ему, что лось берет мякину
 Из рук ребенка, что не все – металл,
 Что Королев Гагарина закинул
 Туда, где миф младенцем пролетал...

Нет синевы синей прощальных вежд.
 И лишь реанимация надежд...

Аминь, реанимация надежд,
 Здесь о венок споткнется неотложка...
 Осколки ампул. Карканье невест.
 Латынь. Священник. Детская галошка...
 Ну вот и все, сердца сгорели, в нас
 «Остался только пепел...» Это Дудин
 О той, где выжил... Нет, не на Парнас,
 На Южное, туда подъем не труден.
 Обьедем город – праздник задарма...
 Не унывайте, сфинксы и атланты!
 Как хорошо, что все-таки зима,
 И в желтых окнах – юные таланты!

Пусть щеголяют в Логоса обносках –
 Не Рождество у елочек кремлевских...

Не Рождество у елочек кремлевских:
 Комки об крышку – круглые слова...
 Мы будем снова в тихих отголосках
 На Троицу, когда взойдет трава...
 Что опыт ваш... Мы Клио пережили,
 Ценили хлеб – блокадники культур...
 И не стоянки – Музу сторожили
 От наглецов с набором партитур.
 И не спасли, забылись сном мертвецким.
 Рассудит Бог, судьба или вина...
 Да, вы – с фашизмом, с варварством немецким,
 А с вашим – мы... Священная война...

Что сытым вам, в тщеславии одежд,
 Что изощрен творительный падеж...

Что изощрен творительный падеж
 Уже ежу и критику понятно,
 Алле, творец, – извольте на манеж!
 Лицо – под грим, в бессонницах помято.
 Земля кругла и запах цирковой...
 Да нет, увольте, трупы – не паяцы.
 И Мандельштам качает головой,
 Под колпаком приученной бояться...
 Умнейте, перестраивайте строй,
 Для вас иконки наши – не помеха,
 И нас уж нет... На первый и второй
 Вся перестройка... Цирк дрожит от смеха!

Россия... Рожь... Сиротские полоски...
 Что ей с того, что слез изящны блестки...

Что ей с того, что слез изящны блестки,
 Что мы, как боги, знаем ремесло;
 А ей нужны горшки, и не березки,
 А доски. Дождь. И Ноево весло.
 Как дышит склон, морщинистый, пологий,
 Но дышит, но вздымается к весне!
 Зачем вдове профессор патологий:
 Живой мужик – и счастлива вполне.
 Мы Фрейда с детской робостью просили,
 Нас обжигали Гегель и псалмы.
 И хоть в Сайгоне пили, но Россию
 (На книгу – руку) пропили не мы...

Вот потянулась... Ищет соловья...
 А что ей Шварц, Кривулин или я?

А что ей Шварц, Кривулин или я,
 Пудовкина, Охупкин, Куприянов,
 Миронов... Каждый сам себе семья:
 Сосуд пороков и певец изъянов...
 Что ж, каждому свое... Ворота в ад
 И мне маячат... Если станет страшно –
 Шприц, морфий, – и нахлынет Ленинград;
 Наш нищий рай, наш черствый снег вчерашний,
 Воспетый (нынче шамкать и молчать)
 До всех святынь, искривленных в каналах.
 И если вас отметила печать,
 Нас – дерево декабрьское в кораллах.

И вещей кот на крышке бака ржавой...
 Но вся Россия пела Окуджаву...

Но вся Россия пела Окуджаву,
 Высоцкого, запретам вопреки.
 Хрипела страсть, будящая державу,
 Вздыхал Булат – смолкали остряки...
 Есть голос крови.
 Голос поколенья.
 И вопиющий глас. И голоса...
 Мне голос был: поэты, как поленья,
 Трещат в печи, а истина – боса.
 Кто горемычней, значит ли – мудрее?
 Пусть этот вял, а тот – вторично лих,
 Скажу, вздохнув, как Белла про Андрея:
 А я люблю товарищей моих...

В плену Харит, в компании Наяд
 И тоньше, и изысканнее яд...

И тоньше, и изысканнее яд,
 Искуснее пчелиное барокко ...
 О, Летний сад, безлюдный Летний сад,
 Ты так притих, как будто ждешь пророка...
 Мы – тени тех, самих себя, прости...
 Плюскамперфект уютней, чем футурум.
 Хотя бы мрамор вылечи, срасти,
 Не подпускай безбожников к скульптурам!
 Мелеет лоб – как не было чела...
 И не от крыльев колет под лопаткой.
 А надо мной вальсирует пчела:
 Нашла цветочек с родственной повадкой...

И сжалась жизнь. И, сжавшись, не сдержала
 Летучих рифм целительные жала.

Сергей ЗУБКОВ
 Хайдельберг

ПРЕДЧУВСТВИЕ

...Какая-то слабоосвещённая гостиница, где у входа лежат чемоданы, и среди них – два моих. Автобус скоро должен подойти, и мы в него сядем. Мы сядем и поедем в Крым нашим обычным маршрутом. Чемоданы загрузит персонал, потому что все мы – безрукие. Подходит старый автобус, только водитель и люди в нём – новые и мне не знакомы. Водитель открывает дверь длинной рукояткой, я сам поднимаюсь по ступенькам и прохожу в салон. В салоне – почти все места заняты, но одно, в отдельно стоящем, словно космическом, кресле – свободно. Я сажусь, и мне уже не видно: зашли ли остальные наши и погрузили ли мои чемоданы?

Автобус медленно трогается и ползёт по кривым и старым улицам города. Но где же хоть одно знакомое лицо? Где чемоданы? Схватившись за чью-то одежду зубами, я встаю и пробираюсь к водителю.

Водитель – мужчина лет тридцати пяти, с чёрными блестящими усиками и всё знающими глазами. Говорит, что мы можем, конечно, вернуться и забрать остальных от гостиницы, но... Я начинаю обещать, что, конечно же, мы заплатим. Я заплачу. Я уже теперь готов отдать ему свою кровь, даже жизнь, в конце концов, лишь бы только вернуться назад.

Лица. Вот, что было всё это время необычно! Лица пассажиров – не весёлые и не грустные, а ждущие, когда и как эта история закончится. Автобус с трудом разворачивается, но дальше не едет. На дороге – играющие дети. Автобус стоит. Сейчас я должен выйти и уговорить детей освободить дорогу. А детям весело! Они кувыркаются в пыли и смеются. Они смеются, а я молчу, потому что по краям дороги – бездонные обрывы. Сообразительные дети, которые всё и всегда понимают

лучше нас, вдруг ловко откатываются и ложатся вдоль дороги, как бордюры. Автобус может ехать дальше. Однако молчаливые лица пассажиров внушают мне, что дорогу должен указывать я. Я иду впереди, а автобус едет за мной. Постепенно, узкая дорога начинает раздваиваться, но не вправо и влево, а вверх и вниз, как два тёмно-серых каменных языка, один из которых уходит в небо, а другой – под землю. Я выбираю дорогу, ведущую вверх, но автобус выворачивает на нижнюю и исчезает. Автобус исчезает, а я стою на развилке, между небом и землёй. Мне очень одиноко и нечем вытереть слёзы. Я стою без вещей, без друзей, без надежды, и мне ужасно хочется, чтобы автобус вернулся...

Татьяна ШЛЕВА

Эссен

СТИХИ 2017 ГОДА

В гостях у Анны

Анне Германовой

Скиталицей, поникшей от забот,
В четвёртый день семнадцатого года
По милости судьбы и ей в угодую
Я очутилась у резных ворот.

Хозяюшка с улыбочивым лицом
И с голосом поющего ваганта,
Изящна, как цветок в петлице франта,
Меня встречала в дворике пустом.

О этот взгляд! – себя узнала в нём,
В зрачках её библейских отражаясь
И чувствуя – она мне не чужая,
И не чужою я вхожу к ней в дом.

За окнами стоял волшебный лес,
Передо мной она стояла – Анна,
И падал снег, но мне казалось – манна
Спускалась с предрождественских небес.

И был из манны выпечен пирог,
Смежал камин всевидящее око...
Впервые было мне не одиноко,
И до утра наш длился диалог.

О слово, ты начало всех начал,
Ты связываешь в узел все начала –
В её устах ты серебром звучало,
И голос струн под пальцами звучал.

Пой, миннезингер, менестрель, вагант!
Пой о любви несбывшейся, высокой
Пой, Анна – хрупкий ангел кареокий –
Ты в этой жизни тоже эмигрант.

И оттого, наверное, друг мой,
Душа тревожна – странница ночная,
Нездешняя, иная, неземная –
Она упрямо ищет путь домой.

Ehringshausen – Essen

Птица на стекле

В день рождения сына моё окно –
дóчиста, чисто-пречисто,
Чтобы стёкла прониклись
надежды светом лучистым,
Чтобы в них, как в зеркало,
гляделось Вестфалии редкое солнце –
Предпочитает оно широкий формат окна,
а не овчинку оконца.
Вот, на прозрачном экране
жизнь разноцветно струится,
Мчатся, фыркая, автомобили,
пестреют рекламы, лица.
В парке напротив резвятся зайцы,
мелькая хвостами,
Бродят собаки и голуби,
курят гашиш бомжи под кустами.

В небе ни облака,
зато плывут киты-дирижабли.
Можно, высунув руку,
взять дирижабли за жабры.
А можно сорвать печальные,
слегка увядшие розы,
Чтобы спасти их от жажды –
от передоза угрозы.
Но лучше – выплыть в проём окна,
как в младенческих снах бывало,
И витать в перьевых облаках –
в обнимку с ангелами Шагала.
С ними молча смотреть,
как мимо проходит лето,
Дыханьем которого крыши домов
и стёкла в окнах согреты.
А когда – напоследок – облетающий август
в окне отразится,
Нарисовать на запотевшем стекле
устремлённую в небо птицу.
Подадутся на юг дирижабли,
бродяги-бомжи, перелётные стаи...
И только птица перезимует со мной –
на стекле под ставней.

Печаль осенних откровений,
Излом летящих журавлей
В необратимости мгновений
Душе всё ближе, всё милей.

Душа молчит, тепла не просит,
Иным предчувствием полна:
Ей в бесприютном небе просинь
Над взлётной полосой видна.

Вечерний звон

Напрасно прошлое зову,
В ответ лишь эхо – дежавю:

Фантомы смолкших голосов,
Обрывки старых адресов,

Дымы утраченной страны,
Да в горле горький ком вины.

Родной мотив «Вечерний звон» –
«Как много дум наводит он...»

Из далёкого изгнанья
Колокольным ветерком
Долетят воспоминанья –
Ни о чём и ни о ком.

Ветка нежная сирени
Кружевным махнёт платком...
Не жалею, мой добрый гений,
Ни о чём и ни о ком.

Сон-трава¹

Желтоглазые звёзды с небес на поляны упали,
Обрели свои корни в раздолье земли луговой.
Отрешённо покинув родные небесные дали,
На Земле они стали цветами – целебной травой.

Под мелодии звёздные скрипок маэстро Вивальди,
А случалось, и даже под бомб оглушительный вой,
В океане ночном на землях они сон навевали,
И прозвали их люди за вещие сны Сон-травой.

Только, верится мне, их явление отнюдь не случайно!
До поры не раскрыт этих звёзд желтоглазых секрет:
Смерти нет – есть покой. Сон-травой нам подарена тайна
Переправы с планеты Земля в мир далёких планет.

*Эка глупа красна девица,
Неразумна дочь отеческа!
Из русской народной песни.*

Не спешу задумывать наперёд –
Дорожу лишь тем, что Господь даёт.

Чтоб Ему – Отцу – да не докучать,
Не гашу свечу, не рублю с плеча.

От Его щедрот – не в корысть, не впрок.
Те же грабли в лоб – в сотый раз – урок.

Суть блесной блеснёт – и сорвётся прочь:
Вразумляет Бог неразумную дочь.

¹ Цветы сон-травы обладают целебным действием. У многих народов с ними связаны поверья и сказания.

Нара ДОМИНСКАЯ

Шадринск

СТАРАЯ ЯБЛОНЯ

1.

Она выстояла в этот сильнейший ураган, который обрушился на деревню вчера. Она видела за свою почти полувековую жизнь таких ураганов несколько. Вчерашний был одним из самых страшных, пожалуй. Ветер ревел, как обезумевший зверь, разрушая всё на своём пути. Ломались с хрустом ветки на клёнах и тополях за оградой, гремел шифер на крыше дома, обрывались, как гнилые нитки, провода... А старая яблоня выстояла. Видно, так сильно в ней желание жить и крепки корни, что никакому ветру-злодею не справиться. Кружевная красавица-яблоня – вся деревня любовалась её цветением, высока и статна, с большой раскидистой кроной, она была издалека видна со всех сторон.

– Ох, и хороша твоя яблоня, Анна Ивановна! Даром, что дичка, а цветёт – залюбуешься... – бывает, говаривали в старые времена проходившие мимо бабушки Анны соседи.

Бабушка только смеялась в ответ:

– Да я и сама – дичка, не царских кровей, а по молодости тоже ничё была. Редко кто из парней мимо спокойно проходил. Вот и Васенька мой полюбил меня с первого взгляда...

Бабушка становилась серьёзной и смотрела куда-то вдаль задумчивым выцветшим взглядом некогда зелёных глаз.

– Эх, Васенька... – вздыхала Анна Ивановна и уходила во двор, пряча набежавшие слёзы.

Василий Петрович геройски погиб в далёком сорок четвёртом, выполняя задание по разгрому немецких захватчиков в районе крымской Сапун-горы. Сын Анны и Василия так и не увидел своего отца, ведь родился он в конце сорок первого,

уже в эвакуации, в то время как отец уже воевал с фашистами. Анна Ивановна больше не вышла замуж, всю жизнь посвятив сыну своему. Выучила его и в институте, и в аспирантуре, чем могла помогала и когда Дмитрий женился. Внучку свою обожала и баловала. Людочка всё лето проводила в деревне у бабушки, предпочитая деревенские каникулы шумной жизни пионерских лагерей.

Давно нет уже на свете и Анны Ивановны, и сына её, и невестки, а старый деревенский дом перешёл по наследству к Людмиле.

2.

– Слышь, Вовка. Нам её за раз не свалить будет. Придётся по частям. Стволов-то несколько от одного корня, да и раскидистая такая, падать будет – опасно. Это тебе не сосну свалить – ту толкнул, да она и летит, как свечка. А эта вон какая здоровенная, в разные стороны расшперилась. Давай сначала крупные ветки посрезаем, а потом и до стволов доберёмся, лениво потягивая папироску, сказал сидящий на деревянной лавочке у дома работяга, которого в округе все звали Митричем. Он был трудолюбивым, малопьющим, поэтому его часто нанимали в качестве разнорабочего – помочь что-то по хозяйству.

– Давай так и сделаем. Хозяин сказал, ещё корни вытаскивать надо, корчевать всё. Покупатель, видно, им условие такое поставил – чтобы участок чистый был. Без деревьев и кустов всяких. Он тут будет особняк строить с бассейном во дворе. Богатенький какой-то попался. Хороший покупатель, хозяин сказал, нежадный. Только вот условие поставил. Выполнять надо, – Вовка лениво зевнул. – Не выспался я сёдня из-за этой халтуры.

– Ну чё? Курнём ещё по одной, да за дело? Нам бы за сегодня управиться, пока погода малёха наладилась, на завтра опять дождь обещали. Вчерась вон какой ураган был...

– Митрич, а ты не знаешь, куда хозяин-то с хозяйкой сваливают? В Германию, что ли?

– В неё, к фрицам. Ага. У хозяина там родня какая-то нашлась, помогли с документами и всё такое.

– Вот подфартило! Мне бы таких родственников где-нить в Штатах али в Австралии, – Вовка мечтательно улыбнулся.

– Зачем в Австралии-то, Вован? – Митрич хохотнул, припушивая папироску. – Там крокодилов тьма тьмущая, а в море – акулы. Одне зубастики, короче. Не-е, лучше в Америку поезжай, к Обаме. А я к тебе в гости нарисуюсь, гульнём с тобой – пуцай Америка вздрогнет.

Кореша громко засмеялись и стали лениво-нехотя подниматься.

– Ну чё, поехали?

3.

– Людмила, ты определенно сошла с ума. Ну что за капризы, ей-богу? Мы же уже обо всём договорились. Документы готовы. Квартиру продали, последние две недели по договору здесь живём. Что на тебя вдруг нашло? Не понимаю... – солидный, хорошо одетый мужчина нервно крутил в руке ключ от машины, позвякивая брелком, и сердито поглядывал на жену.

– А ты меня никогда и не понимал, Боря. Особенно последние годы. Жил своей жизнью, пропадал вечно на работе. А где я, что я, как... Тебя ведь это мало волновало, правда? Лишь бы дома всё сделано было, да обеды-ужины вовремя. Я и за бабушкой сама ухаживала почти два года, ведь слегла она вмиг после того, как родители мои в аварии погибли. Сколько раз ты спросил у меня – нужно ли что? Может, помочь? Нет, я не упрекаю. Деньги в доме всегда были, я понимаю, ты зарабатывал, заботился. Только иногда этого мало бывает... – Людмила глубоко вздохнула. – Не могу я уехать отсюда. Корни здесь у меня. Не могу. Как представлю, что на могилку к маме, к отцу,

к бабушке некому ходить будет – так тоска меня душит. Больно мне, Борис. Плохо так на душе, как будто предаю кого-то... Да, наверное, так и есть, предаю. Деда, который с фашистами воевал, бабушку, которая мечтала, что здесь в деревне ещё не одно поколение ребятишек вырастет. Больно. С корнями-то всё отрывать... – Людмила снова заплакала.

– Нет, сил моих больше нет! Надоело! Сколько можно? Взросленькая ты у меня. Сорок лет, не восемнадцать. Люда, ты только знай, я в этой стране не останусь ни одного лишнего дня, – сказал, как отрезал, Борис. – Если ты остаёшься, я подаю на развод. Думай. У тебя времени не так много в запасе. Ну посмотри на себя – кому ты здесь нужна? Старая училка! Бессрочная завучка! С неврастением и нищенской зарплатой. Дети вон над тобой ржут! Интеллигентка в седьмом колене, блин. Чем гордиться-то? Дипломами да болячками?

Борис стал краснеть, голос его срывался на крик, но крик получался фальшивым и неубедительным. Людмила смотрела на толстого лысоватого человека, который кричал на неё, обижая и оскорбляя походя и её, и всех её родных. Смотрела и не видела в нём мужа. Это был какой-то чужой человек. Мелочный, приземлённый, думающий только о своей выгоде, надеющийся выбраться из проблем, которые, как ему казалось, останутся в стране, из которой он спешно уезжал.

– Делай что хочешь, Боря, – устало выдохнула она. – Я остаюсь.

– Дура! Нет, вы посмотрите на неё – зов крови в ней проснулся. А жить-то ты где будешь? Бомжиха! Квартира уже – тютю! Через два дня идём дом деревенский продавать, задаток уже получен. Выгодно так договорились, надо только участок освободить и расчистить. А ты – здрасьте-приехали!

– Боря. Не кричи. Дом принадлежит мне. Я передумала его продавать. Я буду там жить.

– Ненормальная! Идиотка! Ты понимаешь, во что ты хочешь вляпаться? Мы взяли задаток! Тебе же придётся его вернуть по договору в двойном размере! Где ты возьмешь денег?

Я не собираюсь оплачивать твою блажь! Ты пожалеешь об этом поступке. Подумай хорошо. Ну мы же всё решили, Люда, ну давай уже по-взрослому. Ты останешься здесь одна. Сын в Россию не вернётся никогда, он уже три года в Европе. – Борис что-то ещё говорил, временами переходя на крик, а потом вдруг выдохнул. – А впрочем... Поступай как хочешь, надоело!

Борис обмяк и затих, как сдутый воздушный шарик, как будто устал бросать прописные, как ему казалось, истины в пространство, как будто осознал наконец, что его всё равно не услышат и все увещания бесполезны. Достаточно было посмотреть на Людмилу, чтобы понять, что она приняла решение и не изменит его. Лицо женщины стало каким-то спокойным и удивительно светлым, как будто не было бессонных ночей и тревог со сборами, как будто не было ежевечерних слёз в подушку и горьких сомнений – правильно ли поступает она.

– Боря, попроси Митрича с Вовкой, пусть приедут, помогут мне вещи в деревню перевезти.

– А они сейчас в деревне как раз. Я им велел яблоню спилить и сирень раскорчевать.

– Яблоню? – Людмила подскочила как ужаленная. – Бабы Анину яблоню? Да что ж такое...

Комок снова подступил к горлу, но Людмила взяла себя в руки:

– Алло, девушка, такси можно вызвать? Мне в деревню нужно срочно уехать. – Людмила диктовала адрес диспетчеру такси по сотовому и одновременно обувалась.

– Поскорее, девушка, дело срочное. Да, спасибо, уже выхожу.

– Нет, ты всё-таки сошла с ума! Ты куда поехала, Люда? – устало-ошарашенно спросил Борис. – Куда ты поехала, я тебя спрашиваю?..

– Домой, Боря. Я поехала домой...

Эфим ШАФИТ Бохум

Родился в ноябре 1936 года в г. Москве. Закончил МИИТ, трудовая биография весьма напряжённая. Поэзию любил всегда, писать пытался, но лишь урывками и «в стол». Трудовую деятельность закончил в 65 лет и вот тогда-то писать стихи начал относительно регулярно. Считаю поэзию языком эмоций и чувств, главное в стихотворном творчестве для меня прорыв, не констатация события, а смысловая глубина. Разумеется, к собственному творчеству отношусь весьма критически, но именно это делает меня более защищённым. Публикуюсь в газете «Делет» еврейской общины «Перуш» (Оберхаузен).

Элегия

Бывают дни, тоска вокруг разлита,
И кажется, вот-вот замкнётся круг.
И смысла нет в рутине вязкой быта,
И нет друзей, и нет желанных рук.

Но иногда, среди печали зыбкой,
Грустя, что неприветлив жизни лик,
Глаза поднимешь, встретится улыбка
И в светлые тона окрасит миг.

Как будто вдруг слетело покрывало,
И вновь возникла сущему цена,
И краски жизни засияли яро,
И тайна бытия обнажена.

Февраль на Неве

Ещё зима, но небо сине,
И солнца луч уже теплей –
Та незабытая картина
Всплывает в памяти моей:

Внизу Нева во льда доспехах,
Стекло в плену морозных звезд,
Я в Петропавловскую крепость
Свой путь держал и сильно мёрз.

В узоре продышал оконце
И зрю у крепостной стены
Людей в лучах скупого солнца,
Тела у них обнажены.

Они стоят, к стене прижавшись,
Лучей косых тепло лоя,
Загара магии отдавшись
В морозный полдень февраля.
И чтоб сомнения не плыли
В бесспорном равенстве полов,
И дамы истово вершили
Крупниц тепла надлёдный лов.

...Шпиль чёткий на небес лазури,
Ещё суров зимы заряд,
Но обнажённые фигуры
У крепостной стены стоят.

В них внятны воспоминаний вздохи,
Желанных радостей грехи.
Мне говорят порой: – Неплохо
Тебе б издать свои стихи.

Я мало думаю об этом,
Большим желаньем не горю,
Как многие, отправить в Лету
Мою закатную зарю.

И пусть не будет мне уделом
В судьбою отведённый срок
Упрятать в книжные пределы
Мой поэтический мирок,

Я всё же верю, что пробьётся
На волю ручеёк живой
Моих стихов и отзовется
Созвучием хоть в душе одной!

Татьяна ТЕРЦЕВА

Хельсинки

Поэт, литератор. Организатор фестиваля современной поэзии, прозы, перевода и книгоиздательства «Aurora Borealis» в Финляндии. Печаталась в журналах «Гайд-Парк» (Лондон, 2004), «Дети Ра» (Москва, 2005, 2007, 2010), «Воздушный змей» (Таллинн, 2006), «LiteraruS» – Литературное слово (Хельсинки, 2006-2010), «Кольцо А» (Москва, 2007), «Дружба народов» (Москва, 2008), один из авторов сборника «Структура сна», (Изд-во «Алетейя, Санкт-Петербург», 2008), «Юность» (Москва, 2009), «Северная Аврора» (Санкт-Петербург, 2011), «Зинзивер» (Санкт-Петербург, 2011), «Интерпоэзия», (Нью-Йорк, 2012, 2014), «Эмигрантская лира» (Льеж, 2013). Победитель поэтического конкурса «Эмигрантская лира-2012» (эмигрантские номинации). Член жюри поэтического фестиваля «Эмигрантская лира» 2016–2017 гг. Стихотворения и проза переведены на французский, финский, шведский, грузинский языки.

С 1998 года живет в Хельсинки (Финляндия).

СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ

Дом нужен страннику, чтобы иногда отдохнуть с дороги, дом – это форпост, маяк, обмен пространством, место силы и отдыха. Здесь встречаются покой и движение, красное и белое, светлое и темное. Родной дом есть у всех: ученые, писатели, преступники, библиотекари, лесники, врачи, учителя каждый день возвращаются домой. Странники тоже возвращаются, но не всегда и ненадолго, потому что в разных мирах разные понятия о том, что такое дом. Для нас дом – это родные стены, для них дом – это родные вселенные.

Удивительны лишь размеры проекций. Дома, вселенные, их тщательно выверенные акценты: цвет штор в тон пылающим всполохам горизонта; пузатые ножки софы, лесные пни, заросшие мхом; высокие своды окон, стволы корабельных со-

сен; настольные лампы, мигание звезд; мягкие ковры спелых июльских трав; секретеры с узорами из причудливо переплетенных корней; резные каминные решетки в осенней паутине; щипцы для углей из сросшихся еловых лап; скрипучие половицы, крик выпи; домотканые дорожки лесных тропинок; подоконники цветущей герани; плитуса трассы, заросшие иван-чаем; печка с железными дверцами, за которыми пляшут ночные костры вдоль реки; чугунная носатая кочерга на болоте и железный совок для упавших с папоротника оранжевых углей; чудной диван со складной крышкой и привинченными к ней петлями, скрип кладбищенских ворот осенью.

Если поднять крышку наверх, то диван станет широким, на нем можно спать, а если опустить крышку вниз, то диван становится узким, на нем можно сидеть, а под крышкой может спрятаться довольно крупный ребенок или худощавый взрослый. Полежать так подольше, и можно представить, что ты в гробу, тебя уже похоронили, а ты очнулся живой, шевелишь руками, ногами, бьешься о крышку, она не открывается (потому что поверх крышки сидит твоя троюродная сестра-злодейка и хохочет, заливаясь, не выпустит теперь тебя никогда из гроба злая ведьма (отдай свое сердце!), нет на нее управы, заклинания от нечистой силы не помогают, и ты, понимая, что выхода нет, засыпаешь. Проснувшись, легко поднимаешь крышку, потому что сестра-злодейка устала сидеть и ждать, пока ты взмолишься о пощаде, она превратилась в обычную девочку, твою ровесницу и убежала в сад есть черную смородину или ушла купаться. Можно выходить, в доме, скорее всего, остались только бабушка с дедушкой, они заняты делом, по пустякам приставать не будут.

Вечером, когда последние из вернувшихся живых принесут из леса в своих деревянных шарабанах зудящее комариное покрывало северной июльской ночи и предметы потеряют свои четкие очертания, дом начнет укладываться и моргать желтоглазыми окнами. Вот тогда-то и надо рассказать сестре-злодейке о том, как одна девочка уснула летаргическим сном, а ее

родители подумали, что она умерла, и похоронили девочку на местном кладбище. И теперь эта девочка, вся в белых лилиях приходит ночью, встает у изголовья и душит понравившихся ей людей запахом цветов. Надо еще не забыть добавить, что сестрица ей точно понравится. Тогда сестра, как обычно, завизжит, прибегут взрослые, начнут допрос, жалобы, охи, вздохи, скучно. Когда же все стихнет, нальется сонной истомой, неразумная родственница сама начнет разговоры о желтой занавеске, красном диване, черной руке – понятное дело, наслушалась старшего брата, который недавно вернулся из летнего лагеря и пугал их неделю, а то и больше «страшилками»: «В черном-черном лесу стоит черный-черный дом...» Майка ей отвечать не будет, она будет молчать и думать о завтрашнем дне, о том, как пойдет искать в лесу штаб, сделанный мальчишками в начале лета. Найдет его и не скажет об этом никому, только закопает там свой «секрет». Будет тайна на все лето – ходить в штаб и проверять «секрет». Большая тайна. Сестре тоже ничего не скажет, или скажет, но в конце лета, или потом, позже...

Майка уснула.

Комнаты освещало утреннее солнце, на окне белыми ситцевыми волнами покачивались легкие занавески, во дворе уже вовсю кипела жизнь. Отец собирался поливать теплицы, мама с тетей на кухне готовили завтрак, бабушка отдавала команды, дедушка, очевидно, читал газету и через каждые полчаса доставал свои серебряные часы на цепочке – военный трофей. До завтрака нужно успеть сбегать на речку искупаться, погладить собаку, поиграть с котом, посмотреть на гуляющих овец и коров, подразнить важного петуха, походить по верхней жерди забора, воображая, как Тибул из «Трех толстяков» пробирался в тюрьму, чтобы спасти повстанцев, помочь отцу, повертеться у него под ногами, найти в теплице маленький, теплый, еще оранжевый помидор, сияющий и умытый. Погладить его по нежному боку и оставить на ветке дозревать, наливаясь краснеющей силой. Еще надо успеть поздороваться с домом. Майка любила обнимать солнечный дом насколько

ко хватало рук, изо всей силы прижимаясь телом к теплым доскам. Она ставала босыми ногами на каменный фундамент и шептала дому свои детские тайны, а он, такой большой, могучий и необъятный, внимательно и ласково слушал маленькую светловолосую девочку, которая часто пряталась на чердаке. Там она чувствовала себя спокойно.

Одна стена солнечного дома была не обшита, из бревен торчал мох, его можно было выщипывать, а потом приделывать к братову и своему подбородку козлиные бороденки и смеяться вместе до колик в животе, но взрослые за мох громко ругали и грозились отправить «мелкоту» на исправительные работы.

Исправительные работы – это прополка сорняков. В детстве, летом, наверное, самое страшное слово – это мокрица. Хотя с виду красивенькая. Но ее много, очень много. Ужасно много. На целый день. А летом у детей всегда столько интересных дел. <...>

Светлана ЖАБАНОВА

Дюссельдорф

Поэт, ученый, переводчик, популяризатор науки. Родилась в 1969 году в Минске, закончила биологический факультет Белорусского Госуниверситета. Кандидат биологических наук. С 1996-го года проживает в Дюссельдорфе (Германия). Автор поэтического сборника «Начало» (2002 г.). Лауреат премии журнала «Литературный Европеец» (Франкфурт-на-Майне, Германия, 2004 год). Лауреат и номинант многих литературных конкурсов в номинации «поэзия», таких как «Пушкин для детей» (Берлин, Германия, 2012 г.), «Под небом Балтики – 2015 г, 2017 г.» (Таллинн, Эстония) и других; шорт-лист в международном поэтическом конкурсе «Пушкин в Британии – 2015» (Лондон, Англия), в международном литературном Конкурсе «Русский Stil-2016» в номинации «Нашим детям. Поэзия» (Штутгарт, Германия) и другие. Обладатель приза зрительских симпатий международного творческого Конкурса «Золотое Перо Руси-2015» в поэтической номинации «Однословный многорифм».

ОДНОСЛОВНЫЕ МНОГОРИФМЫ

Новая форма поэзии, где в идеале каждое слово в стихотворении имеет свою рифмическую пару (не менее трёх) и при этом не превращается в заумь.

Диадема

Дребедень
на диадеме,
глаз гранатовый...
Диадему
я надену,
только надо ли?

В амулетах
с бирюзой
много толку ли,
если лето
в них с грозой
и с иголками?

Зима

Скрыл
снег
сном
быль
слов
осени.
Оцени!

Поседел
снег, как мел.

А метель?
Ей – лететь!

Танец

Подбери
шелкам
вдоволь
яркости,
Подари
платкам
вдовьей
ярости!..

Полукруг,
прыжок,
нет возврата
мне...
У подруг
шажок –
переката-
ми.

Каблучки
стучат
непокорные,
старички
ворчат...
Нет покоя мне!

Танец без
границ,
жуть
на улице!
Тайно бес
проник –
пусть
рифмуется!

Строка

Опасалась,
отвергала,
не стала,
не хотела,
не слагалась,
устала,
заболела,

а затем,
передумав,
в простоте
ты осмелела
безумно.

Ты просачивалась
буквами
в сито,
я растрчивалась,
будто бы
свита,
я словесные
сплетала
узоры,
ты их весело
хватала
у моря!

Ты шалила,
ты была
недотрога,
я молила
как могла
тихо Бога,
и решила
подружиться
с тобою,
неуживчивой
сестрицей
такою!

Соломон БГОДКИН

Штутгарт

МАСТЕРСКАЯ ГЛУПОСТЕЙ

Голливуд, это не только «фабрика грёз», это ещё и мастерская глупости...

Ковбойский фильм: ковбоев тьма, а коровы – ни одной...

В развлекательном кино всё на редкость так завлекательно, потому что отвлекательно от всего того, что неувлекательно...

Когда на экране уже всех поубивали, а до конца фильма было ещё далеко, зрители стали боязливо озираться по сторонам...

Все супермены, они какие-то одноклеточные, но иначе широкий народный зритель их не поймёт и не захочет им подражать, как все одноклеточные...

Они прекрасно понимали, что снимали полную чушь, но снимать что-либо другое не было никакого смысла, могло плохо получиться...

СТРЕЛЯЮЩИЕ УМНИКИ...

Почему-то у героев всех детективов самые умные лица только тогда, когда они стреляют...

В фильмах наших, да и в литературе тоже, ну так живописуется душа уголовников, что хоть открывай Институт Благородных Убийц...

На экране всех так красиво убивали, что зрители искренне стали завидовать как тем, так и этим...

Хорошие фильмы сейчас смотрят буквально единицы. Так что до абсолютного нуля остались буквально считанные «мыльные» сериалы, и тогда единственными хорошими фильмами станут уже они...

Вчера в клубе шибко умный фильм показывали. Так смотрели его одни дураки...

Анатолий БЕЛКИН

Москва

Поэт-лирик, иронист и автор лимериков, публиковался в периодике и коллективных изданиях, издал около полутора десятков персональных и ряд коллективных сборников стихов. Кандидат физико-математических наук, доктор юридических наук, профессор, действительный член РАЕН по секции «Литература и пропаганда знаний», академик-секретарь отделения «Точные методы в гуманитарных науках». Автор и соавтор более 200 научных работ, нескольких монографий и учебных пособий. Член Президиума Международного конгресса криминалистов. Член Международной Ассоциации содействия правосудию (МАСП). Трёхкратный чемпион высшей лиги чемпионата Москвы по «Что? Где? Когда?», двукратный чемпион России по «Что? Где? Когда?», шестикратный чемпион Суперлиги МАК, чемпион мира по «Что? Где? Когда?» (2008) в составе команды «Неспоста».

Байки разных народов

Чтоб у сына – хлыща и повесы –
Деловые развить интересы,
Дарит дедушка дрель,
Мама – виолончель,
А вот папа принес «смит-энд-вессон».

Молодой балерун из Блуа
Так привык к своему амплуа,
Что, кладя на перины
Сразу две балерины,
Называл это па-де-труа.

Закурила прелестная дама
 В Королевском дворце Амстердама.
 Изучив косячок,
 Суд сказал: «Пустячок!
 Здесь и четверти нет килограмма!»

Пожилой людоед из Хургады
 Вел охоту у банной ограды:
 Там достаточно пищи,
 И народец почище –
 Их и мыть специально не надо.

На охоте в Буркина-Фасо
 Применяют обычно лассо:
 Если дичь не встречается,
 То оно надевается
 На того, кто потолще, – и всо.

На мангале – шампуры из бука,
 Мясо жарится в листьях латука –
 Каждый год в это время
 Отмечает все племя
 Годовщину прибытия Кука.

Это ложь, будто негры в Сахаре
 Меж собой говорят на амхари, –

За вопрос на амхари
 В этой самой Сахаре
 Могут запросто съездить по харе,

Одинокой мадам из Ла-Платы
 Алименты пришлось маловаты –
 Суд претензии внял
 И отца обязал
 Поменять материнскую плату.

В чашку кофе на острове Капри
 Помещаются ровно три капли,
 А попросишь четвёртую –
 И дивятся упёртые
 Обитатели острова Капри.

Собачка посла из Макао
 С похмелья лакао какао;
 А супруга посла
 Это пить не смогла,
 И сосао с утра «Кюрасао».

Два монаха склоняли монашку
 Учинить воздержанью отмашку,
 А чтоб страсти телесные
 Одолели небесные –
 Им в подмогу налили рюмашку.

У юной девицы из Ниццы
 На завтрак обычно три пиццы –
 Их носят ей на дом:
 Ведь ей, с ее задом,
 По лестнице трудно спустицца.

Хитроумный мулла из Кадиса
 Самогон выгонял из редиса,
 Восхвалял Магомета
 (На редис нет запрета!)
 И цитировал текст из хадиса.

В Финикии особые клиники
 Исцеляют подсевших на финики –
 Этой пищей насильно
 Там их кормят обильно
 Тренированные сандружинники.

У священных руин Колизея
 Издалека видать ротозея –
 И срезают карманники
 И штаны, и подштанники
 С тех, кто замер, на стены глазаея.

У синьора из города Бари
 Домочадцы ютились в амбаре,
 Все пеняли ему:
 – Отчего ж не в дому?
 – Ничего, – отвечает, – не बारे!

В ресторанчике около Гинзы
 Взял я порцию соевой брынзы;
 Но кусок был так мал,
 Что мне повар подал
 Вместе с вилкой – контактные линзы.

Молодая красotka из Кракова
 В фас и в профиль была одинакова,
 И супруг перед сном
 Разбирался с трудом,
 Где там что у красотки из Кракова.

Пожилой огородник из Турции,
 Увидав у соседа настурции,
 Проворчал: «Во дошли!
 Лучше б вы развели
 Помидорции или огурции!»

Елена МОРОЗОВА

Киев

ВОЙНЫ ПОНАРОШКУ

В детстве сестра упала в соседский погреб. Крышка была открыта, а они с соседской девочкой бегали поблизости, и сестра свалилась, но зацепилась за ступеньку лестницы и повисла на платье вниз головой. Снизу веет сыростью, а сверху доносятся голоса.

Тётя Роза вопит-причитает: «Ой! Ребенок разбился!» Её мать, старуха, ворчит:

«Чего ты кричишь?! Та то ж чужой ребенок разбился!» Сестра снизу обиженно: «Не разбитая я, живая». Её вытянули, дали рубль и строго-настрого приказали родителям не говорить.

В том дворе жили две еврейские семьи: тёти Розина и тёти Симына.

Ссорились постоянно, но двор не перегораживали. Асфальт посередине: ни изгороди, ни колышка, только со стороны улицы деревянный забор высокий, крашенный в два цвета. Слева – синий, справа – зелёный. И две калитки, каждая в своём углу. У тёти Розы (калитка справа) была злая дворовая собака.

Так вот, цепь была такая длинная, что доставала до калитки слева. Приходят, например, гости к тётке Симе, а собака кидается, лает. Тётя Сима кричит, тётя Роза тоже кричит, но собаку, в конце концов, оттягивает.

Старенькую маму тёти Симы мы прозвали «грустная». Потому что она ходила по улице за внуком Мариком с дымящейся котлетой и картофельным пюре на тарелке и приговаривала: «Марик, не делай мне грустно, иди и кушай». Марик был тщедушным ребёнком, ел без охотки, глядя куда угодно, но только не в еду.

Мне очень хотелось эту котлетку. А ещё больше розовое какао. У нас такое какао было только по праздникам. Потом Марик вырос, уехал в Израиль и пошёл в армию. А слово «грустная» потом перешло в «грузная», потому что бабушка очень потолстела. Но эти войны – понарошку, а дома у нас были предметы настоящей войны. Алюминиевая ложка папы с выцарапанным годом «1944», фуфайки, медали. И был сам папа, с двумя ранениями на спине. Одно напоминало большого паука. Эта война в детстве воспринималась чем-то светлым: нашей победой, торжеством справедливости, душевными песнями, гордостью за страну. В детской голове война, как первобытный строй, никогда не должна была вернуться. Но война вернулась. Вошла в мой донецкий дом осколком снаряда в потолке и в полу квартиры, но, главное, она вошла осколком в сердце.

Владимир АВЦЕН
Вуиперталь

СНЫ

1

Сны понаснились плохие –
люди явились лихие,
я и стенаю, и трушу,
знаю, явились по душу.
Ну а душа не готова –
ей бы в дорогу собраться.
– Помилосердствуйте, братцы, –
молвлю последнее слово.
Надо бы с песней и гордо,
а не дрожащим от страха...
– Помилосердствовать, бляха? –
и перочинным – по горлу!
С криком истошным из ночи
вынырну я на рассвете.
Что это? Первый звоночек
или последний приветик?
Сон это, бред, небылица,
жесткое ложе – не боле.
...Если б не эти до боли
чем-то знакомые лица!

2
Сон о Пушкине

Ветер завыл; сделалась метель.

А. Пушкин

И приснилось, что я,
неподвластный пространству и времени,
век за веком листая,
за верстою сминая версту,
не меняя коня
и ноги не выная из стремени,
всё скачу и скачу
на разборку проклятую ту.
И приснилось, что я
режиссер этой старой трагедии,
что могу изменить
от начала ее до конца,
что могу сохранить
для России ограбленной гения,
мужа для Натали,
для детей неповинных отца.
Но случилась метель;
все труднее мое продвижение,
и вот-вот загремят
пистолеты на том берегу.
Дай мне, Боже, домчать
и некстати не дай пробуждения,
уж тогда-то я точно
ничего изменить не смогу.
Еще миг – и конец,
и взметнется у речки смертельный смерч.
Но уже я – меж них,
посрамлен несговорчивый Рок!
Промахнулся Дантес!
Застонал Александр Сергеевич.
И умолк. И – к виску пистолет.
И нажал на курок.

3 Сон о доме

«Земную жизнь пройдя до половины»,
а если честно, то поболее чем,
в тот ветхий дом из самана и глины
я сунулся неведомо зачем.
На стенах – латки рыжих фотографий,
что поновей и те, что сняты встарь, –
обрывки жизней, судеб, биографий,
положенные кем-то на алтарь.
– Кто вы такие, как на свете жили? –
я спросил, глупец, и мне в ответ
клубы взметнулись вековечной пыли
и полыхнул в глаза нездешний свет,
и предо мной предстал подобьем чуда
старинный шкаф, невидимый досель,
и ужасом повеяло оттуда,
и двери взрывом сорвало с петель.
И моему испуганному взору
скелет в шкафу явился и изрёк:
– Зачем ты здесь, зачем в ночную пору
меня сюда из прошлого извлёк?!
Ах, знать желаешь, как мы жили-были...
Да, в общем, мы такие же, как вы:
работали, творили, пели, пили,
по пьяни куролесили, увы,
любили, но случалось, предавали
любовь свою, летя на ложный свет,
давали жизнь, но также отбирали –
не зря в шкафу доселе мой скелет.
Но кто виновен здесь, а кто невинен,
не спрашивай и ноги уноси!
Земную жизнь пройдя до половины,
в шкафы не суйся. Боже упаси...

Алексей ЖУРАЛЕХ
Донецк

ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Наверное, мало найдётся в мире стран, чья история вызывала бы столь противоречивые оценки и суждения, как история России. словно где-то, среди пыльных страниц наших архивов, в огромном количестве скопилось статическое электричество, которое больно бьёт при малейшем прикосновении. Сегодня любое самое мелкое событие – открытие памятника или мемориальной доски, вышедший на экраны исторический фильм, школьник, неудачно выступивший в чужом парламенте, – порождает бурю эмоций в обществе и всплеск вражды на просторах интернета. Порой кажется, что наше сегодняшнее общество не способно прийти к согласию в оценке ни по одному более-менее значимому событию недавнего прошлого.

Мой дед Михаил, ученик знаменитого борца Филина, был одним из активных организаторов спортивной жизни в городе и области, любил лёгкую атлетику и, конечно же, футбол. Однажды на тике репрессий во время футбольного матча к нему на трибуне подсел знакомый болельщик, работник НКВД, и шепнул на ухо: «Ты в списках, уезжай на время». Дед последовал совету и уехал из города вместе с семьёй. Вернулся через несколько дней, вышел на работу. Никто его ни о чём не спросил. Через десять лет у деда в семье родился третий ребёнок – мой отец. Ещё через двадцать пять лет на свет появлюсь я. Выходит, жизнью своей я обязан работнику НКВД, имени которого уже никогда не узнаю.

Наше отношение к прошлому балансирует между двумя крайностями, каждая из которых по-своему ущербна. С одной стороны, совершенно бессмысленно, оглядываясь назад, ненавидеть, обличать, негодовать, судить. Участники далёких событий давно уже предстоят суду куда более осведомлённому

и милосердному, чем суд потомков. А попытка, словно в компьютерной игре, «доиграть» за белых и за красных может вести только к новой гражданской войне. Этот путь умножения вражды, бессмысленный и тупиковый.

Другой путь, напротив, зовёт нас к всеобщему примирению и прощению, к тому, чтобы, оставив в прошлом обиды, начать всё с чистого листа. Но, несмотря на внешнюю привлекательность, путь этот таит в себе серьёзную опасность. Можно ли примириться с расстрелом тысяч невинных в Бабьем Яру или на Бутовском полигоне? И не скрывается ли за таким примирением всего лишь ленивое равнодушие, нежелание напрягать силы для различения добра и зла? Зло в истории должно быть названо злом, преступление – преступлением. Лишь после этого разговор о примирении и прощении обретает смысл.

Обе мои бабушки ехали в эвакуацию в разное время и разными составами, но обе – беременными. Бабушке Ане, бывшей уже на сносях, повезло: несмотря на артналёты и попадания бомб в другие вагоны, к ним не залетело даже осколка. «Это нас охраняет эта наседка», – суеверно шутили попутчики. Эшелон бабушки Кати тоже попал под бомбёжку, были жертвы. Она уцелела. Правда, потом попутчица в вагоне случайно опрокинула бабушке на ногу чайник с кипятком. Тогда при отсутствии медикаментов ожог грозил заражением крови. Но всё обошлось. С разницей в несколько месяцев появились на свет моя тётя и моя мама.

Казалось бы, сегодня, когда открыты архивы, когда опубликованы многочисленные мемуары живых свидетелей, ничто не мешает спокойно расставить нужные акценты, честно и беспристрастно поговорить о красных и о белых, о Великой Отечественной и о ГУЛАГе, отделить зёрна от плевел, взвесить добро и зло на чаше исторических весов. Но на деле соблести баланс между ненавистью и равнодушием в отношении к прошлому оказывается на редкость трудно. Слишком переполняют нас эмоции сегодняшнего дня, слишком заряжены мы на конфликт, слишком удобно видеть в мир в подростковой, чёрно-белой гамме, деля его на правых своих и неправых чужих.

Но не всё, наверное, столь безнадежно. Многое удивительным образом меняется, когда история преломляется через конкретную человеческую судьбу. Шествие «бессмертного полка», начавшись как частная инициатива в одном из регионов России, за несколько лет получило воистину всенародную поддержку. Убеждён, что со временем это движение будет только шириться. Сознательно или случайно ему удалось найти тот верный ракурс в видении истории, который близок и понятен каждому. «Бессмертный полк» – это взгляд в прошлое, пронизанный любовью к конкретному человеку, который тебе дорог. В свете этого всё сразу становится на свои места, и точка равновесия, которая до этого так мучительно ускользала, находится сама собой. «Бессмертный полк» – это менее всего попытка сплестись на могиле поверженного врага и обещание в случае чего снова дойти до Берлина. Но это и ясная уверенность в том, что твои предки когда-то, не так уж давно, боролись со злом и победили его.

Дед Степан ушёл на войну в 42-м. В августе попал в окружение где-то в приволжских степях. Тогда немцы, разбив наших под Харьковом, шли к Сталинграду. После плена дед вернулся в строй и продолжил воевать. В конце 43-го был ранен, комиссовался, вернулся домой. Дед почти не рассказывал о войне, мои детские вопросы о количестве убитых им немцев так и остались без ответа. Но День Победы он праздновал всегда. Даже когда уже был серьёзно болен. Охотно принимал поздравления от близких и далёких людей. Умер дед 14 мая, успев отметить свой любимый праздник.

Мы вспоминаем ушедшего человека, если он безразличен нам. Мы вспоминаем, чтобы на миг ощутить его присутствие рядом – без корыстного интереса, без упрека, без обид, и нашей памятью в это мгновенье движет только любовь. По сути, память, очищенная от всех случайных примесей, в своей основе и есть любовь. Только зная об этом, мы можем прикоснуться к нашей истории в её подлинной глубине.

Дедушка Степа, дедушка Миша, бабушка Аня, бабушка Катя... Я вас помню.

Литкафе



Здравствуйте! Вы пишете стихи или прозу? Проходите! Мы вам – виртуальную чашечку кофе, вы нам – свое реальное стихо- или прозотворение.

Здравствуйте! Вы любите стихи или прозу? Проходите! Мы вам – виртуальную чашечку кофе, реальные стихи и рассказы, вы нам – ваше доброжелательное внимание: ведь авторы, даже очень самоуверенные с виду, всегда волнуются...

Согласно Уставу, в кафе каждый раз будут приглашаться всё новые и новые авторы. Прежним остаётся только место встречи. Его, как мы помним, изменить нельзя.

Добро пожаловать!

Сегодня у нас в гостях организаторы и участники Девятого Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира 2017»



Александр МЕЛЬНИК Льеж, Бельгия

окна мои перекрыты железной решёткой
прежний хозяин боялся воров не иначе
я как орёл молодой то текилой то водкой
греюсь в темнице сырой где живу и батрачу

трачу свободное время на странное хобби
складывать в столбик слова безо всякого проку
лишь для того чтобы падкой до ласки зазнобе
было желанней со мной предаваться пороку

préliminaires amoureux благозвучные рифмы
дождь или снег за постылой решёткой неважно
я продаю по завышенным втрое тарифам
несколько строк ради ночи безумной и бражной

то ли тюрьма то ли ад если что и осталось
светлого в полуподвале почти что землянке
это доверчивых губ неизбежная алость
и прикипание к душеспасительной пьянке

окна мои перекрыты железной решёткой
господи замысел твой как всегда гениален
единение с водкой пером и красоткой
станет магнитом для библиотечных читален

бродит снаружи по диким краям заграницы
чудище обло озорно черно стоголово
но от него защищает меня с озорницей
оберег мой вдохновенное русское слово

детский плач разбудил старика
 снилась точка в чужом некрологе
 между старым и малым строка
 о закрой свои бледные ноги

по-над парком весенняя синь
 разлилась вперемешку с прохладой
 среди юных нескладных разинь
 попадаютя девки что надо

а точнее сказать хоть куда
 и во взгляде голодном истома
 и вздымается грудь но беда
 так и липнет к тому молодому

устремился к закатной черте
 то ли птах то ли ра то ли атум
 жизнь-жестянка вода в решете
 бог солярный рифмуется с матом

антропный принцип несколько констант
 дают пожить и нищему и принцу
 ревёт толпа эрцгерцог фердинанд
 не знает кто такой гаврило принцип
 на смену тощим тучные года
 приходят и уходят без надрыва
 и ты живёшь зевая иногда
 как бог за сутки до большого взрыва

Марина ЭСКИНА
 Бостон, США

ВО СНЕ И НАЯВУ

Сон разума

Чудовищное загоняет рассудок в сон,
 наконец, в душевной парадной или в сортире
 мозг отключается, свернув извилины; потрясён,
 измучен выбором новостей в эфире,
 разум заходит за разум. За разом раз
 всё меньше логики, всё больше пыла,
 пены у рта, солёных искр из глаз;
 ближе стена, тоньше полоска тыла.
 Сон разума, в конечном счёте, неотвратим,
 в школе теней такого не проходили,
 там вытачивали на станке буратин,
 тапочки носили, передники. Тили-тили...
 Сначала снится Черчилль со своим «никогда,
 никогда не отступай», вдогонку – Троцкий
 с ледорубом в башке и прочая ерунда
 из арсенала накурившегося подростка,
 потом снится Пушкин, ай да сукин сын,
 потом Таня или Сурен из второго класса
 «Б», очищенный апельсин,
 хурма, завёрнутая в газету, сырое мясо,
 очередь за картошкой, рыжий любимый кот,
 выпавший из окна в погоне за птицей,
 чёрный синяк бедняги на весь живот,
 радость, что выжил, потом ничего не снится.

О, как подробна жизнь, не моя, а чья то!
 Вот одуванчик, левкой, крапива, мята,
 помидоры, укроп, картошка, листы салата,
 сосны, дубы, опята, все, чем земля богата,
 простите, если я виновата,

законы Ньютона, Ома, квантовые частицы,
 птицы бесщётно – скворцы, воробьи, синицы,
 цветущие липы, озёра, моря, границы,
 некуда деться, мигрень мне мешает спиться,
 фауна, или флора, меня боится.

Брошки матрёшки, чайник сотейник, блюдца,
 миски, тимпаны крышек – ржавеют, бьются,
 книги в пыли тоскуют, вокруг пасутся
 безделушки и, победители революций
 технических, песни льются.

А у меня всего лишь цвета – зелёный, красный,
 синий, жёлтый. Звуки – согласный, гласный,
 трубный, детский, старческий. Собралась, но
 знака не подали, видно, ждала напрасно,
 да и чего не ясно.

Осязание, обоняние, горечь, голос,
 благодарность, шестого чувства полюс,
 дождь, оркестрованный водосток. Помесь
 холмов с долинами – лицо, в ладонях кроюсь,
 и в подсознание – хронос.

маме

Я приснилась тебе почему-то в красном халате,
 но очень кстати,
 ты и так собиралась меня позвать, назвала по имени,
 извини меня,
 прости, что объяснять – я была в бегах, на работе,
 что-то в этом роде,
 и не услышала, не ответила, не подошла, не поцеловала,
 вообще не подозревала
 в эту минуту, что, отдаляясь, делаются ближе,
 что время слижет
 горечь, и непоправимое, оставаясь тем, что нельзя поправить,
 перемелется и тогда ведь
 будет мука – для сырников, счастья, кабачковых блинчиков – не
 эльдорадо,
 но не много и надо

Анна ХРЕСЛАВСКАЯ

Харлем, Нидерланды

Любви наперекор не жить...
Как волк, оцепленный флажками,
Весь век обречены кружить
любви смертельными кругами.

Так бьётся серебром в сетях
ещё живых рыбёшек стая –
у жизни и любви в гостях
и вечности не постигая.

А вечность растолкует Смерть,
в игре разбрасывая кости.
И тут наш дом. И наша твердь.
Земля и небо на погосте.

Ну а пока живётся нам –
мы наши души рвём на части.
И разрываем пополам.
И называем это счастьем.

дня судного не отменить прошу лишь ссуду дней
за утра серенькую нить держусь я все сильней
держусь за ласковость луча и мертвого листка
за то что снова горяча моя рука в твоей
то за улитку на стене а то за паучка
мой взгляд цепляется сильней
чем меньше остается дней
тем глубже слов река

Из родословной

Когда отец женился на Лилит –
Безмолвный небосвод прошло криком.
То древний род из-под могильных плит
В отчаянье зашелся безъязыком.

Она была до горечи сладка...
Как восковая белая лилея.
И не дрожала девичья рука
Младенцев полоснуть ножом по шее.

Из теплых уст змеилась хищно речь:
«Плодить не стану я тебе евреев,
Которых немцы отправляют в печь,
Дымком развея ветхую идею».

Из польских глаз не капала слеза,
Когда отец, собрав свои манатки,
Ей слова на прощанье не сказал
И на корабль ушел походкой шаткой.

Потом он встретил Еву. И она –
глазами неславянского покроя
сердец не сотрясавшая до дна –
мне стала мамой, а ему женою.

Золотые нежные вериги
старческого сытого житья...
Сняты мне оставленные книги –
Книга Жизни, Книга Бытия.

Андрей СКУБОВСКИЙ

Екатеринбург, Россия

Луна в доме Козерога

Я смотрю себе на Луну,
а Луна плывет по воде
через волны и тишину –
от звезды к соседней звезде.

Нелегко ей сегодня плыть,
вон как морщит ее волна,
ишь, качает как! Стало быть,
и Луна сегодня пьяна.

На безмолвном своем пути –
от звезды к соседней звезде –
очень трудно в дом не зайти
и с друзьями не посидеть.

К Козерогу заглянет Луна,
поболтать зайдет со Стрельцом –
а чего она все одна?
Вот и ходит из дома в дом.

Козерог ей нальет сто грамм,
а потом и Весы чуть-чуть,
у Тельца всегда есть «Агдам»,
как к Тельцу-то не заглянуть?

И пока не кончился джаз,
вот она и плывет по воде,
чуть дрожа и покачиваясь –
от звезды к соседней звезде.

Голубая чашка

Упала, разбилась любимая чашка!
Был тонким и хрупким прекрасный фарфор.
Тепло вечеров, время вечности нашей,
Казалось, хранила она до сих пор.

Она согревалась от крепкого чая
И нежно парок выдыхала в лицо,
А блик золотого колечка по краю
Казался тебе обручальным кольцом.

Она горяча была и вдохновенна,
Она согревала ладони, пока
Тонкого кобальта синие вены
Бежали по круглым бокам.

Быть может, с паркета осколки сметая,
Ты скажешь легко и не ведая зла:
«Какая ты, чашка, была голубая!
Какая красивая чашка была!»

Табличка «Осторожно, злая собака!»

За оградой ходит тигр.
Говорит мне: «Заходи,
Ничего не бойся, дед:
Это старая табличка –
Злой собаки больше нет!»

Как-то даже непривычно:
То пугали злобным лаем,
А теперь зовут зайти?
«Нет, спасибо, – отвечаю, –
Мне сюда не по пути».

Андрей ТРИЦМАН
Нью-Йорк. США

Сколько душ перелетных?
Сколько возможно вбенежить?
Превращаешься в ящик, в котором
Старые письма давно пожелтели.
Товарищ мужчина,
Где твоя выдержка?

Сколько осталось неспетых и дремлющих песен.
По ту сторону жизни, на том берегу
Сены, Вены, Гудзона ли
Каждый раз сердце полно последней надеждой.
В ящике этом полно пыльцы или пыли,

Пятна снежинок – женским почерком нежным.
И бессмысленно биться, легче расстаться, растаяв
В долгую ночь, где ждут тебя тихо:
Женщина-осень, Баба-Яга, Лорелея
К темной реке зовет тебя ласковым смехом.

Всех приглашаешь к себе на постой.
Помнишь, с грехом пополам, все даты.
Переставишь книжку с полки на стол.
На морде заметишь кусочек ваты

в зеркале, где отражается дом
кирпичный напротив, трубы и небо,
в стынущем воздухе легкий дым.
Молча глядят фотографии слева.

Там вся генетика жизни моей:
сумерки мира, осадок похмелья,
время отрыва и сбора камней,
жадный глоток приворотного зелья.

Но продолжается этот гон,
гомон и стопка на расставанье.
Вижу – пока не начнется снег,
месяц плывет, молодой, да ранний.

это время проходит сквозь нас насквозь
мох и камня серая кость
седина на елях и на березах
позовешь, так холодно – тает отзыв

нет, родная, нам бы все переплавить,
пережить, переждать, на П.О.¹
отправить и тогда мы найдем,
где живет подруга или вешний друг.
Там бормочет вьюга

там Кашей сидит и играет в карты
там Яга норовит на всю смерть накаркать
ну а мы пройдем по лыжне бесшумно
в тех местах глухих от мороза дымно

мы уходим с тобой на одном дыханье
шепот наш или крик и на расстоянье
кто услышит? да мы – как всегда – друг друга.
тихим эхом гудит навсегда округа

¹ Почтовое отделение

Вальдемар ВЕБЕР

Аугсбург, Германия

Четырехлетней дочке

О как простодушна твоя нагота
 пред пастью рычащей стихии!
 Тебя не страшат ни волны высота,
 ни ветра налеты лихие.
 Огромное небо, вода и гранит.
 Косички упрямый рогалик.
 Лучом пронзено, твоё тельце горит,
 прозрачное, словно хрусталик.
 И чайки в волненье горланят с утра,
 и бухточка, будто подкова.
 Когда бы я мог перед Богом Добра
 замолвить хоть слово, хоть слово!

Могилы отцов

Целое поколение,
 выросшее без могил предков.
 Иное жизнеощущение.
 Парящая отстраненность.
 Всплески памяти
 при взгляде на облака,
 летящие к мёртвым.

После тебя

Жизнь прожита неведомо когда,
 неведомо зачем, и где, и как...
 Журчит в тумане темная вода,
 стада бредут, и зацветает мак.
 Я жив еще, коль слышу голоса
 на том недостижимом берегу...
 А где-то рядом мерный плеск весла,
 и кажется, что это я гребу.
 Печаль моя вне притяженья сил
 добра и зла, и славы, и вины.
 И кто простил меня и не простил,
 все мною безнадежно прощены.
 Тот шум, тот сон, тот радостный угар,
 далёкие, как лунных вод прибой...
 И непонятно, то ль мне это в дар,
 то ль в наказание послано судьбой –
 остаток дней прожить в ничьем краю,
 где солнце светит, но часы стоят,
 как будто пережил я смерть свою
 и, возвращаясь, не добрёл назад.

Вынести невыносимое горе –
 как пройти
 через бескрайнюю пустыню
 без каких-либо шансов выжить,
 чтобы после
 на окраине оазиса
 денно и ночью
 слушать дыхание
 пустоты...

К. С. Фараю

Выбирать
 между землею и небом,
 между матерью и отцом,
 между душою и сердцем,
 ощущать чувство вины
 уже за то,
 что приходится делать выбор...
 О как мне понятно отчаянье
 Вечного дезертира,
 презревшего пафос праведной брани,
 разорвавшего цепи
 кровавых обетов
 и криводушных посулов,
 бросающего ружье в болото,
 где оно не достанется
 никому!



Урене ХРЕКЕР
 Кенцинген

Родилась в 1951 году в городе Сталинске (Новокузнецк) Кемеровской области в семье российских немцев. В 1972-ом окончила Новокузнецкий педагогический институт. В течение 20 лет – учитель русского языка и литературы в школах Западной Сибири. В 1992 году – переезд в Германию. 20 лет проработала медсестрой в одном из областных психиатрических центров. В 2014 и в 2016 годах принимала участие в литературной номинации Третьего и Четвёртого Московских международных фестивалей «Нить Ариадны». Автор книг «Несостоявшиеся судьбы», «Снежная рапсодия», «Не забыть нам песни бардов», «Кёнигсфельдское перерождение», «Мой путь к счастью», в соавторстве с Натальей Ружицкой – «Дневник Осени», «Е-мейлы на снегу».

Эссе «Поэт незрячий, увидевший и Запад, и Восток» получило в 2017 году на фестивале «Эмигрантская лира» первое место на конкурсе критиков-эссеистов «Восток и Запад в современной поэзии России. К 300-летию пребывания Петра Первого в Бельгии».

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ.
ЧТО МНЕ СЧИТАТЬ СВОИМ ДОМОМ?

*Тихо по веткам шуршит снегопад,
Сучья трещат на огне.
В эти часы, когда все ещё спят,
Что вспоминается мне?
Неба забытая просинь,
Давние письма домой...
В царстве чахоточных сосен
Быстро сменяется осень
Долгой полярной зимой.*

Тогда, в шестидесятые годы прошлого века, без этой песни не проходило ни одного вечера в пионерских лагерях, туристических походах и просто на родной улице. Всегда находился кто-нибудь с гитарой в руках, и пение не прекращалось до утра. Мы не задумывались над историей создания песен, да и вопрос о том, кто ту или иную написал, тоже не будоражил наши умы. Песни как бы сами собой неизвестно откуда появлялись, и мы, в процессе пения, запоминали слова. Они просто оставались на слуху и, когда возникала новая возможность петь в кругу друзей под гитару или баян, сами выходили, как бы лились из запасников памяти, оставляя в ней след на последующие годы.

*Снег, снег, снег, снег,
Снег за окошком кружится.
Он не коснется твоих сомкнутых век.
Снег, снег, снег, снег...
Что тебе, милая, снится?
Над тишиной замерзающих рек
Снег, снег, снег.*

Сейчас, в тихий зимний вечер, далеко от тайги, костров и замерзающих рек, мне почему-то вспомнились эти строки, которые сопровождали меня по жизни. В школьные годы я мечтала быть геологом. Отец смеялся и недвусмысленно намекал, что мечтаю об этой профессии, потому что нравятся сильные красивые парни, которые были героями кинофильмов тех лет. Я только смущенно улыбалась в ответ на его слова. Тогда о парнях я ещё не думала, а вот дух романтики манил меня, и я готова была ехать на край света «за туманом и за запахом тайги». Лишь сегодня я узнаю, что это строки из популярной тогда песни поэта Юрия Кукина.

Геологом я не стала, но желание пожить в тайге, поехать на комсомольскую стройку осталось. Муж помог мне осуществить эту мечту. В первый же год нашего супружества, мы, гонимые ветром открытий неизведанных миров, поехали на Ангару, на строительство Богучанской гидроэлектростанции. Конечно, это был романтический порыв. И о тайге, настоящей, с глубокими сугробами, бесконечными снегопадами и крепкими морозами, я знаю не понаслышке.

В леспромхозе, где мы остановились на жительство, была средняя школа, но не было ни телевидения, ни библиотеки, ни книжных магазинов. Вот где пригодились знания, полученные в школе и в институте, из книг и просто из жизни. Пригодилось и знание песен.

Мы и здесь обрели друзей, с которыми проводили долгие зимние вечера. Моими подругами были учителя, друзьями мужа – инженеры, один из которых играл на гитаре. Хорошее было время. Даже две свадьбы сыграли. А Павел-гитарист часто вспоминал тогда свою девушку, студентку одного из ленинградских вузов.

*Долго ли сердце твоё сберегу? –
Ветер поёт на пути.
Через туманы, мороз и пургу
Мне до тебя не дойти.
Вспомни же, если взгрустнётся,
Наших стоянок огни.
Вплавь и пешком, как придётся,
Песня к тебе доберётся
Даже в нелётные дни.*

После того как я услышала от писателя Валентина Васильевича Кузнецова, что песни бардов имеют свои истоки не только в коридорах Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, но и в среде геологов, мне захотелось узнать, кто же является автором песни «Снег над палаткой кружится». К моему удивлению, им оказался Александр Моисеевич Городницкий, с творчеством которого я познакомилась уже на немецкой земле.

Из интернета я знала, что поэту за восемьдесят и что он один из зачинателей авторской песни. Но почему он в юности писал о кострах, палатках, снегопаде в тайге, о долгой полярной зиме и снеге, тихо опускающемся на тундру, – это было мне неизвестно. Слова песни подсказывали, что поэт – из племени геологов, крепких надёжных мужчин, которым не «не страшен ни снег, ни ветер, ни холод вечной мерзлоты...» Поэтические строки уже не казались больше неожиданными, но всё ещё скрывали какую-то тайну:

*Снег, снег, снег, снег.
Снег над палаткой кружится.
Вот и кончается наш краткий ночлег.*

*Снег, снег, снег, снег
Тихо на тундру ложится,
По берегам замерзающих рек –
Снег, снег, снег.*

Не откладывая надолго разгадку этой тайны, я через Интернет начала знакомство с поэтом и в какой-то момент застыла у компьютера в изумлении. Оказывается, Александр Городницкий не только поэт, но и геолог, и океанолог, и учёный, и исполнитель своих стихов и песен. Вот только на гитаре он учится играть лишь сейчас, в пожилом возрасте, раньше у него на это не было времени. А вот не писать стихи он не мог, это было, по его словам, просто наитие. Они сами рождались в душе и выходили готовыми строками:

*Над Петроградской твоей стороной
Вьётся весёлый снежок,
Вспыхнет в ресницах звездой озорной,
Ляжет пушилкой у ног.
Тронул задумчивый иней
Кос твоих светлую прядь,
И над бульварами Линий
По-ленинградскому синий
Вечер спустился опять.*

Что же происходило в жизни Александра Городницкого в 1958-ом году, в год написания этих строк? После того, как я познакомилась со множеством статей о поэте, мне стало известно, что, закончив геофизический факультет Ленинградского горного института имени Г.В. Плеханова в 1957-ом году, он работал на севере. Эти стихи были написаны в период его пятилетнего проживания и работы в качестве геофизика, начальника отряда, а позже и начальника партии в Туруханском, Игаркинском и Норильском районах Сибири.

*Долго ли сердце твоё сберегу? –
Ветер поёт на пути.
Через туманы, мороз и пургу
Мне до тебя не дойти.
Вспомни же, если взгрустнётся,
Наших стоянок огни.
Вплавь и пешком, как придётся,
Песня к тебе доберётся
Даже в нелётные дни.*

С тех давних лет прошло более полувека.

*Снег, снег, снег, снег,
Снег над тайгой кружится,
Вьюга заносит следы наших саней.
Снег, снег, снег, снег...
Пусть тебе нынче приснится
Залитый солнцем вокзальный перрон
Завтрашних дней.*

Они постепенно наступали, эти дни, упомянутые поэтом в стихах.

С конца пятидесятых годов Александр Городницкий работал в Научно-исследовательском институте геологии Арктики Министерства геологии СССР. Он был одним из первооткрывателей Игаркинского медно-никелевого поля. Семнадцать лет работы на крайнем Севере и тридцать пять – в океанологии – это дано не каждому.

Он не перестаёт работать и сейчас, передаёт свой опыт молодым, пишет стихи и песни. Так, в январе 2010-го года вышло два сборника его стихов: «Ночной поезд» и «Легенда о доме». В этом же году был поставлен автобиографический фильм

«Атланты держат небо», состоящий из тридцати четырёх серий, которые с 2011-го каждый месяц транслировались по телевидению.

А в январе-феврале 2010-го года прошли гастроли поэта по городам Соединённых Штатов Америки.

Именем Городницкого названы малая планета Солнечной системы и горный перевал в Саянах.

*Там, в заснеженном краю,
У подножья ели,
Парни песенку мою
На привале пели.
Мной назвали перевал,
Видный отовсюду.
Только я там не бывал
И уже не буду.
Потому что век иной
Нынче на пороге.
Перевал мой за спиной –
Нет туда дороги.*

«Страшно потерять умение удивляться», – говорит он, прожив суровую, долгую и до предела наполненную событиями жизнь.

Не удивил меня и его ответ на вопрос журналиста:

– Вас не задевает, когда люди либо просто не знают, либо приписывают другим авторство ваших песен? Даже «Атлантов», которыми Вы традиционно заканчиваете концерты?

– Нет, я отношусь к этому положительно. Более того:

*Прошу другого у грядущих дней,
иная мне нужна господня милость:*

*чтобы одна из песен сохранилась,
став безымянной, общей, не моей.
Чтобы в лесной далекой стороне,
у дымного костра или под крышей,
ее бы пели, голос мой не слыша
и ничего не зная обо мне.*

В этих строках раскрывается суть характера поэта Александра Городницкого, лауреата Государственной премии имени Булата Окуджавы, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Главного научного сотрудника Института океанологии имени П.П. Ширшова.

*Я родился на Васильевском,
Мать и отец – в Могилёве.
Внучки родились в Израиле,
Рядом с погибшим Содомом.
Кто растолкует мне правильно,
Что мне считать своим домом?*

*Гнал ураган меня галсами
С яростью невыносимой.
В спальный мешок забирался я,
Пахнувший дымом и псиной.
Север пургой меня потчевал
Над океаном бездонным.
Кто объяснит мне доходчиво,
Что мне считать своим домом?*

Как поэт я сижу в свободное время за рабочим столом, создавая свои творения. Не оставляет меня в покое и мысль, кратко и точно выраженная Александром Городницким в поэтических строках:

*Кто объяснит мне доходчиво,
Что мне считать своим домом?*

Как наитие ко мне приходят строки, которые облачаются в форму поэтических миниатюр «Снежной рапсодии», и душа просит простора и выхода, понимания и признания.

Все мы похожи друг на друга, близки не только по крови, но и по слову.

На прямой вопрос корреспондента газеты «Вечерняя Москва» в мае 2015-го года «Вам никогда не приходила в голову мысль поменять страну пребывания?» Александр Моисеевич так же прямо ответил: «Как приходила, так и уходила обратно. Да, мой сын от первого брака много лет живёт в Израиле, там у меня три внуки, семь правнучек и трое правнуков. Но я давно пришёл к твёрдому убеждению: человек, который пишет свои стихи на русском, должен жить в России. Кроме того, когда я стою в зале и ко мне обращены тысячи лиц, то понимаю, что несу перед этими людьми ответственность не только за свои слова, но и за свои поступки. Если хотите, я повязан этой любовью».

Об этом же – искренние слова поэта Александра Городницкого.

*Неторопливо истина frostая
В реке времён нащупывает брод:
Родство по крови образует стаю,
Родство по слову – создаёт народ.
Не оттого ли, смертных поражая
Непостижимой мудростью своей,
Бог Моисею передал скрижали,
Людей отъединяя от зверей.
А стае не нужны законы Бога:
Она живёт Завету вопреки.
Там ценятся в сознании убогом
Лишь цепкий нюх да острые клыки.*

Своим происхождением – не скрою –
 Горжусь и я, родителей любя.
 Но если Слово разойдётся с Кровью,
 Я СЛОВО выбираю для себя.
 И не отыщешь выхода иного,
 Какие возраженья ни готовь:
 Родство по слову порождает СЛОВО,
 Родство по крови – порождает кровь!

Несомненна актуальность и общечеловеческое значение его творчества как учёного и поэта. По его стихам можно сверять свою жизнь. И я счастлива, что вдали от снегов России встретила с человеком, который близок мне по духу.

Наверное, тем и близок поэт Александр Городницкий нам, что, прожив большую часть жизни вдали от родного дома, думает не только о себе и своей стране, но постоянно размышляет о важных вопросах, небезынтересных всему человечеству, населяющему планету. Вот эта, вторая часть его души, и нашла отражение в его поэзии.

На вопрос журналиста «Что необходимо вам, чтобы почувствовать себя счастливым человеком?» Александр Моисеевич, ни на минуту не задумываясь, ответил:

– Здоровье и благополучие моих родных. Возможность быть за них спокойным. И право на осознание того, что то, чему я посвятил всю свою жизнь, окажется востребованным. Я, к сожалению, не всегда в этом уверен. Но недавно посетил родной Ленинград в день выпускных балов и увидел юных нарядных выпускников школ, которые под утро стояли у стен Эрмитажа, дружно распевая моих «Атлантов». Похоже, всё было не зря – им дороги те же ценности, что и нам в их возрасте. И это вселяет в меня надежду.

Александр ЦИЛЬКЕР Сочи

Родился в 1952 году в городе Запорожье (Украина) в семье врачей. В раннем детстве снялся в кинофильме (маленький эпизод) «Весна на Заречной улице». Окончил Московский институт лёгкой промышленности (механический факультет). Пока учился – женился на Галине Фомичёвой, подрабатывал корреспондентом газеты «Маяк» Пушкинского района Московской области, фотографом в парке, вёл агитбригаду в местном ПТУ. После окончания вуза – мастер, старший мастер, начальник отдела на заводе. Работал в Надьме (Тюменская область) и Ямбурге (Обская губа). Председатель КСП «Витражи» Надымского ДК «Победа». С 1992 по 2006 занимался швейным бизнесом. С 2004 и по сей день – автор идей и организатор фестивалей, таких как «Песня Булата», «Ёри», «Поющий Доктор» (с Аркадием Аркановым), «Зимний Арбат», «Пятая Суббота», «Рождественская Пальма», «Бархатный Сезон», «Мальтийский Фест» и других. Член Московского общества литераторов, председатель клуба авторской песни города Одинцово, Московской области; Гендиректор Творческого Объединения ТриА; Член жюри Грушинского фестиваля (1 тур), фестивалей «Струны Души», «Поющий Источник», «Ёри» и некоторых других. Лауреат многочисленных фестивалей. Автор двух книг стихов, четырёх дисков с авторскими песнями и одного с инструментальной музыкой.

Два оконца

посвящается Андрею Тарковскому

Там, где расходятся все пути,
 Где календарь перепутал годы,
 Там, где барометр врёт вам погоду,
 Там, где по компасу путь не найти,

В чаще лесной и бескрайней пустыне,
 В космосе дальнем, в пучине морской
 Мастер Андрей пишет светом картину
 С Верой, Надеждой, Любовью земной.

За горизонт закатилось солнце.
 Маленький дом, возле дома – цветы.
 В домике этом горят два оконца, (3 раза)
 И за одним из них – ты...

Завтра, сегодня, вчера и всегда
 На рубеже между «было» и «будет»
 Вместе встречаются близкие люди
 И вспоминают о нас иногда.

Жизнь не театр, не кино, не витрина,
 Осенью, летом, зимой и весной
 Снова Андрей пишет светом картину
 С Верой, Надеждой, Любовью земной.

Чуть приоткрыты резные воротца.
 Слушают звёзды концерт соловья,
 В домике этом горят два оконца, (3 раза)
 И за одним из них – я...

Всё повторяется через века,
 Все возвращаются памятью нашей,
 Колокол бьет. И нет музыки краше –
 Слушают горы, внимает река.

Годы стремительны, словно лавина,
 Медные марши сменяет покой,
 Снова Андрей пишет ту же картину
 С Верой, Надеждой, Любовью земной.

Свет не доходит в глубины колодца.
 Мы на пороге холодной зимы.
 В домике нашем... погасли оконца, (3 раза)
 И за одним из них – мы...

Автобиография

Я родился при Сталине,
 Но знаком я с ним не был.
 Рос я мальчиком правильным
 Под украинским небом.
 В орденах помню дедушек,
 Руки нежные бабушек.
 Мы пекли дома хлебушек,
 С мёдом ели оладушки.
 В школу бодро отправился
 При Никите Сергеевиче.
 В классе девочкам нравился
 Добротою сердечной.
 Ныли раны у дедушек,
 Рано сгорбились бабушки.
 Редким стал белый хлебушек,
 Мельче стали оладушки.

В институте, при Брежневле,
 Пели, пили, творили.
 Ах, какими надеждами
 Мы тогда, братцы, жили!
 В лучший мир ушли дедушки,
 А за ними и бабушки.
 В общежитии хлебушек
 Заменял нам оладушки.
 Дети слушали лекции
 В дни реформ Горбачёва.
 Внук родился при Ельцине,
 Но не помнит такого.
 Сам давно уже дедушка,
 Живу с ласковой бабушкой.
 Врач назначил: «Без хлебушка,
 И забыть про оладушки».

Белый Медведь, Очень толстый Пингвин,
 Маленький Кит и Полярная Чайка,
 Жирный Тюлень, стая Мелких Сардин,
 Чукча Давид в бледно-розовой майке.

Теплых достигли они берегов
 Шумно и весело без проволочек:
 Солнечным утром по воле богов
 Вынесло льдину на желтый песочек.
 Наши бродяги сошли налегке,
 Вырвавшись в лето из северной стужи,
 В этом волшебном земном уголке
 Встретили новых друзей и подружек.

Вышли встречать их: Добряк-Крокодил,
 Стройная Зебра – саванны лошадка,
 Слон, Попугай, Бегемот, Гамадрил,
 В розовых бусах – Марго-Шоколадка.

Чукча Давид, не докушав лапши
 С манго и киви, душистой и сладкой,
 Понял внезапно, ах! как хороши
 Бусы на стройной Марго-Шоколадке!
 Смуглой Марго приглянулся Давид:
 В розовой майке он был просто мачо!
 Свадьба, тамтамы и клятвы любви!
 Чёрная Тёща от радости плачет...

Восемь недель пролетели, как сон.
 Чувствам культурный барьер не помеха;
 Под баобабом звучал Мендельсон,
 «Горько!» – пирующим вторило эхо.
 В юрту, на Север, скорее домой!
 Грузит Давид ананасы на льдину...
 Вместе с весёлой и дружной толпой
 К маме доставит свою половину!

Белый Медведь, очень Толстый Пингвин,
 Маленький Кит и Полярная Чайка,
 Жирный Тюлень, стая Мелких Сардин,
 Чукча Давид в бледно-розовой майке.
 Добрый, беззубый Старик– Крокодил,
 Стройная Зебра – саванны лошадка,
 Слон, Попугай, Бегемот, Гамадрил,
 В розовых бусах Марго-Шоколадка.

Пьяный Тюлень, стая мелких Пингвин,
 Зебра Полярная, Стройная Чайка,
 Меленький Слон, Неуклюжий Сардин,
 Кит, Попугай, Обормот-Гамадрил,
 Кто-то ещё...
 Вот такая вот байка!

О птичках

Я хочу жить как скворец:
 Просыпаться рано-рано,
 А когда придёт... зима,
 Улететь в чужие страны,

Где пальто не носят с мехом,
 Где не плачут ёлки снегом,
 Где нет санок для потехи
 И не водятся моржи,
 Где загар чернее сажи,
 Где ты строен и вальяжен,
 Где валяешься на пляже,
 В море пятки положив.

Я хочу быть как пингвин:
 Он крупнее, чем скворец,
 И когда придёт... зима,
 Не останусь я один.

Мне такие же пингвины
 В трудный час подставят спины,
 Холода, метели, льдины
 Будет легче пережить.
 Здесь неведомы разлуки.
 Рядом жёны, дети, внуки.
 Целый день ревут от скуки
 Толстопузые моржи.

Я хочу как филин быть:
 Он мудрее, чем скворец,
 И когда придёт... зима,
 Где родился, буду жить,
 Где попробовал я кашу,
 Где меня назвали Сашей,
 Где сказал впервые: «Мама»,
 Где обрёл покой отец,
 Где мой дом, а в нём подсвечник,
 У плетня растёт орешник,
 И в построенный скворечник
 Прилетит весной скворец.

Юбилей

Я построил свой дом на краю подмосковного леса.
 Высоченный забор посторонние взгляды закрыл.
 Двери запер, тяжёлые шторы на окна повесил,
 Отключил телефон, телевизор и свет отключил.

Пять десятков свечей я расставил во всех помещениях,
 Шестьдесят пять свечей – по количеству прожитых лет,
 Пригласил всех родных и друзей своего поколения,
 Я собрал всех живых вместе с теми, кого уже нет.

Говорил им, что в жизни не верил ни в черта, ни в бога,
 Верил в дружбу, удачу, порядочность, верил в любовь.
 Если этой любви не хватило кому-то немного,
 Я прощенья просил у собравшихся здесь вновь и вновь.

Пять десятков свечей осветили родные мне лица.
 Я просил их простить то, что сам я себе не простил,
 Не читать в моей прожитой жизни дурные страницы.
 Я смеялся и плакал и как-то неловко шутил.

Я налил всем в бокалы вино, и мы выпили вместе.
 Дым простых сигарет заслонил шум родных голосов.
 Расчехлили гитару и пели любимые песни,
 Забывали слова и поэтому пели без слов...

...Отодвинулись шторы. С небес комья снега летели.
 Начиналась зима, добавляя природе седин.
 Пять десятков свечей погорели и все прогорели.
 Оглянулся и понял, что в доме совсем я один.

Разошлись мои гости. Я им благодарен за вечер.
 Я включил в доме свет, телевизор мигнул и погас.
 Я в коробке увидел ещё не зажжённые свечи.
 Сколько их было там? ...Вы узнаете в следующий раз.

Г.Ф.

Гуля считалась девицей гулящей.
 От Розы божественно пахло цветами.
 А Галка так сильно руками махала, как будто хотела взлететь.

Надежда всё время чего-то дарила.
 Любовь почему-то с утра исчезала.
 А Галка так сильно руками махала, как будто хотела взлететь.

Светлана стеснялась при свете раздеться.
 Шоссейная Саша всё сушки сосала.
 А Галка так сильно руками махала, как будто хотела взлететь.

Красивая Соня всё время зевала.
 Суровая Вера чего-то скрывала.
 А Галка так сильно руками махала, как будто хотела взлететь.

Снежана была холодна, словно рыба.
 Камилла огромной была, будто глыба.
 И выбрал я Галку, что машет руками.
 Она помогла мне взлететь!

Алена ЖУПРИЯНОВА
 Штутгарт

Осенние напевы

Сентябрь заплачет ни о чём,
 И что по чём – заплатит,
 Старинный выбрав рушничок –
 Заплата на заплате.

Той светлой памяти дымок,
 Мелодия для флейты –
 Не городской тяжёлый смог,
 Не улиц узких ленты,

Автомобили, фонари,
 Витрины, пешеходы...
 Ведь давит, что ни говори,
 На нас эрзац природы.

В урбанистический пейзаж
 Сентябрь импрессионно
 Внесёт рябинный антураж,
 Крещендо алых клёнов.

И астр осенних иллюзор
 В сиянье семицветном
 Напомнит бабушкин узор
 На рушнике заветном.

Благословить сухой октябрь,
Пунцово-рыжий,
С мячом играющих котят
И птиц на крыше,

И наш с тобой неспешный шаг
По листьям клёнов,
В вечернем небе солнца шар
Посеребрённый.

Понять, что шепчет ручеёк
Скороговоркой,
Вдохнуть витающий дымок,
Слегка прогорклый.

И на свободную скамью
Присев с устатка,
Запретный плод, как там, в раю,
Съесть без остатка.

Прощание с осенью

В этом хаотическом движенье
В пору листогона-листопада
Чудится мне фарс и клоунада,
Гамлета-Высоцкого явленье
На подмостки вымершего сада.

Разгляжу с высокого балкона,
Как несётся чей-то сын собачий,
Словно бомж несчастный за подачкой,
Той, что получает благосклонно,
Весь дрожит и радости не прячет.

Проплывёт нелепая фигура,
Оставляя зонтиком бороздки, –
Некто с мефистофельской бородкой,
Не понять, то ль – круга квадратура,
То ли командир утопшей лодки.

Просквозит, протянет, просинеет,
Прознобит до самой серединки,
Время – доставать полуботинки,
Шапочку и куртку потеплее,
Слушать, как в объятиях борея
Снегопад захнычет под сурдинку...

Марина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Дюссельдорф

Дороги, которые мы...

Начинаешь путь по тропиночке,
Что от дедушки или к бабушке,
Виражом метлы, так что прочь очки,
На стриже верхом и на бабочке.
Продолжаешь путь по волнам бегом –
Босиком иль под алым парусом,
Ввысь взмываешь лохматым облаком,
Чтобы спеть со звёздами в унисон.

Выстрел, старт, до упора нажата педаль,
Не страшат зигзаги фатальные,
И поёт шоссе, и уносят вдаль
Арки-радуги триумфальные!..
А теперь под ногой пепел с лавою,
Роковой Горы камни острые,
И бредёшь уже не за славою,
И лишь ущельями да погостами.

Вот и снова дорога уходит ввысь,
Но идти по ней – горше горечи:
Давит груз, шипы в голову впились,
Знаешь – нет и не будет помощи...

.....

Не меняет река течение,
Но ушла гроза, гробами ворча,
И шагаешь ты в приключение
По Дороге из Желтого Кирпича!

Всю жизнь ты идёшь, как ослик,
Накручиваешь круги.
Даров у судьбы не просишь,
Тут лишь бы отдать долги.

А сколько кругов осталось,
И сколько их позади
Подскажет тебе усталость
И смытых следов дожди...

Они выпадают часто –
осадки твоих следов:
Порой это капли счастья,
Но чаще – метель трудов,

Бывает – роса надежды
Нашупывает рассвет
Сквозь клочья тумана прежних
Прожитых тобою лет.

Давно ты не веришь в чудо,
Не жалуешь слово «вдруг».
Ты будешь брести, покуда
Не выйдет последний круг.

И тихо отчалит лодка,
Направив свой курс туда,
Где мерно скрипит лебедка,
Где мирно скрипит лебедка,
Где снова скрипит лебедка,
И льётся в ведро вода...

Занимательная топография

Бредёшь по свету,
Бежишь по парку,
Сидишь за партой –
Известно, где ты,
Координатам
Рене Декарта.
А если стрелку
От точки к точке
Проложишь строго,
От пункта к пункту
Без проволóчки
Пойдёт дорога.

От точки к точке,
От сердца к сердцу,
От двери к двери
Помчатся строчки,
Порою сами
Себе не веря,
И неба просинь
Проложит строчкам
Дорогу эту –
Дорогу в осень,
Дорогу в лето,
Дорогу в Лету.

Кружáтся стрелки,
Роятся точки,
Как пчёлы в мае,
То исчеза
Поодиночке,
То возникая.

Мелькают страны,
Мелькают даты,
Мелькают лица...
Бывает странно,
Но невозможно
Остановиться.

Но если будет
Чуть-чуть везенья,
Чуть-чуть удачи,
Должны остаться
Три направленья
В конце задачи.
Лишь три вопроса
И три ответа –
Не по-иному:
Дорога к храму,
Дорога к свету,
Дорога к дому.

§ Вал переводчика §



Рената ВОЛЬФ
Дуйсбург

ИЗ НОРБЕРТА ЛЕЙШНЕРА /
VON NORBERT LEUSCHNER
(1948-2013)
С немецкого

Я познакомилась с одним человеком. Но так получилось, что я с ним при его жизни не встретилась... Когда я читала его первую книгу, Норберт Лейшнер (Norbert Leuschner) был уже тяжело, смертельно болен. Я узнала об этом от моей знакомой, Катарины Кухаренко, которая дружила с ним и переводила его стихи на русский язык. Теперь, когда его не стало, она издает книги с его наследием. Одна уже вышла, планируются еще три. Хочу иметь все... Пытаюсь переводить некоторые его стихи. Это интересно, но не всегда легко, несмотря на то, что, кажется, ты понимаешь, о чем речь, и вроде бы несложно переложить верлибр в верлибр. На самом деле это не так.

Книгу стихов, из которой я перевожу, автор назвал «Gedankensplitter». Навскидку перевела как «Осколки мыслей». Но, так как хочется быть уверенной в правильности перевода, принялась докапываться и... чуть-чуть глубже. Оказалось, что слово это означает ещё и «краткое изречение», «афоризм». Само же слово «Splitter» – это осколок, заноза, частица, щепка...

P.V.

Часто мы ощущаем себя
одинокими и покинутыми
и все же мы покидаем жизнь
намного раньше
чем догадываемся

мы улыбаемся одной улыбкой
меньше
мы целуем одним поцелуем
меньше
мы любим одной любовью
меньше

жизнь покидает нас
меньше
чем мы покидаем ее

Wir fühlen uns einsam
und oft verlassen
und doch verlassen wir
das Leben
schon viel früher
als wir ahnen

wir lächeln ein Lächeln
weniger
wir küssen einen Kuss
weniger
wir lieben eine Liebe
weniger

das Leben verlässt uns
weniger als wir das Leben

На свете больше деревьев
умеющих думать
чем людей
пускающих корни

думает дерево
и наблюдает
за суетой
людей

Es gibt mehr Bäume
die denken können
als Menschen
die Wurzel schlagen

denkt ein Baum
und sieht
dem Treiben
der Menschen zu

Только то
что
твои глаза
твои губы
твои руки
приводят к звучанию
нескольких струн во мне
еще не означает
что ты можешь играть
на инструменте

Когда облака
так тяжелы
что касаются гор
приходит осень

тогда я иду
иногда
головой в облаках
ногами в долине

Bloß weil
deine Augen
dein Mund
deine Hände
ein Paar Saiten in mir
zum Klingen bringen
bedeutet das
noch lange nicht
dass du
ein Instrument
spielen kannst

Wenn die Wolken
so schwer sind
dass sie die Berge
berühren
wird es Herbst

dann gehe ich
manchmal
den Kopf
in den Wolken
die Beine
im Tal

Едва ли кто-то думает
что птица
с одним крылом летает

едва ли кто-то думает
что человек с одной рукой
может хлопать в ладоши

и все же многие думают
что измениться должен один
когда двое хотят
заклучить мир

Kaum einer denkt
dass Vögel
mit einem Flügel fliegen

kaum einer denkt
dass Menschen
mit einer Hand klatschen

doch die meisten meinen
nur einer muss sich ändern
wenn zwei
Frieden schließen wollen

Анжелика МИЛЛЕР

Мюнстер

Анжелика Миллер (псевдоним Мари Шансон) родилась в 1971 году в Павлодаре (Казахстан) в семье педагогов, окончила Павлодарский Педагогический Институт и в 1995 году переехала на ПМЖ в Германию. Автор книг: «Посвящения» (1996), «Стихи – ненужные пожитки» (2002), «Женская мастерская» (2003), «Буква» (2004), «Vivat, королева! Vivat!» (2006), «Песни» (2006), «Я привезла тебе крылья» (2006), «Ты будешь в чёрном, я буду в красном» (2012), «Не выходя из комнаты» (2016), «Формула Вселенной неизвестна» (2017). С 1996 года было записано пять музыкальных дисков: «Монологи ума и души», «Птицы-Песни», «Город», «Ничего страшного» и «Белая магия». Внештатный корреспондент журнала «Контакт-Шанс».

Я помню сливу, что росла в саду
под огненным лучом рассвета...
Мне было десять. В этом же году
я улетала к бабушке на лето.
И бабушка была ещё жива,
и вместе с дедом ворошила сено.
Как пахла эта жухлая трава
грибами, подорожником и пеной!
Орешек заливался соловьём,
что свил гнездо в кустарнике крапивы.
Я собирала ягоды в ведро,
а после – нераздавленные сливы.
Крыжовник ждал – вот-вот взорву я плоть,
и плод стечёт по пальцам прямо в рот.
Но я брала на плечи табуретку
и относила далеко вперёд:
туда, где рос смородиновый куст
в изысканном наряде с нитью бус.

И яблоки у трёх огромных яблонь,
слегка покачиваясь, напевали блюз.

Темнело быстро. Не горел фонарь.
На ощупь я колола пальцы розой.
Мне было десять, разве редкость – слёзы?

А редкость – это дедов календарь!
Не видела таких календарей ни у кого –
диковинная утварь!
На ножке он стоял: крути его!
И цифры, прыгая, смотрели внутрь.

Всё яство изумительным на вкус
казалось в то распаренное лето:
из розы лепестков – ажурный мусс,
кисель, берёзы сок, борщи, котлеты.
... Я помню, были чистыми полы,
хотя одна скрипела половица,
там стул стоял. Стоял он до поры.
Мы все садились на него – проститься...

И десять лет прошло с тех пор, и двадцать...
Забыла я про деда. Не ищу
слова, которыми могла бы оправдаться.
Но я грущу, действительно грущу!

Он бабушку любил и не женился...
Концлагерь довелось ей пережить.
Она – от рака лёгких, он – тужить!
Но не расклеился, не сдал, не спился!

Да, воевал. Да, тяжело контужен.
Рука висит, как плеть, уж много лет...

А я живу в стране, где горя нет,
с моей страной, мой дед, увы, не дружен...

Ich war zehn Jahre jung. Im Sommer
funkelte der Pflaumenbaum
in feuerroter Morgensonne –
Ich weiß es alles noch genau:

Ich flog zu meinen Großeltern
mitten in dem Sommer. Die Oma
lebte noch. Ich liebte diese Welt,
der Grasgeruch war eine Wonne...

Ich half beim Heuzusammen –
harken meinem Opa – es roch
nach Wegerich und Schaum des Meeres,
nach Pilzen und nach Beeren noch –
Die sammelte ich in einen Eimer.
Es gab auch reichlich Pflaumen.
Ein Vogelnest – in Brennessel drei Eier
Die Stachelbeeren auf dem Gaumen
zergingen voller süßen Saft. Ich huschte
mit meinem Hocker etwas weiter –
zum hohen riesengroßen Busch,
an dem sich rote Beeren reihten
wie Perlen auf dem grünen Kleid.
Drei Apfelbäume ragten in den Himmel
und man hörte weit und breit
Gezwitscher – im Gewimmel –
ein Lied der Früchte in dem Wind –
die Äpfel wie ein Kontrapunkt
beim freien Fall. Geschwind
kam dann die Dämmerung. Wund
von Rosenstacheln waren meine Finger.
Mir fehlte das Laternenlicht.
Wie rasch mit Zehn vergingen
die Tränen ohne Spuren im Gesicht.

Und Opa ewiger Kalender auf dem Tisch
war eine Seltenheit zum Drehen.
Von Zukunftszahlen ein Gemisch.
Wie viele Jahre sollten noch vergehen...
Der ganze Sommer war wie ein Tablett,
das voller Köstlichkeiten lockte,
mit Rosenduft und Birkensaft, auch Kottelets,
den Borschtsch von Oma, die ich mochte.

Der Fußboden geschrubbt und sauber –
ich weiß noch – in der Mitte knarrte
ein Brett und wie verzaubert
stand dort ein Stuhl, der auf mich wartet:
Wir saßen alle vor dem Abschied immer
auf diesem Stuhl, es war ein Brauch.
Verging der Sommer im Geflimmer
von heißer Luft und von Gewittern auch.
Wie lange her ist das gewesen.
zehn, zwanzig Jahre zogen in das Land.
Vergaß ich Opa, der war ja genesen
von Kriegswunden hatte eine steife Hand.
Ich find wohl keine richtigen Worte,
die meine Schuld ein wenig mindern würden
ich denke oft an jene Orte
vermiss die Großeltern. Die Bürde

nach Omas Tod trug Opa viele Jahre.
Sie überlebte ein KZ als junges Mädchen,
doch nicht den Lungenkrebs ... Er blieb
ihr treu danach. Es war kein Märchen –

Er klagte über viele Tote ...
niemals aufgeben, weitermachen
war stets sein Lebensmotto.
Ich denke oft an ihn und andre Sachen ...

Er war im Krieg, es zu vergessen
erlaubt nicht die verdorrte Hand.
Wie seinen Groll soll ich ermessen
hier lebend, in einem sorgenfreien Land...

Übersetzung:
Agnes Gossen-Giesbrecht

Валерий ДВОЙНИКОВ
(Жорж Ирвэваль)
Льеж

Родился 5 ноября 1978 года в Киеве (СССР) в семье знаменитого советского дзюдоиста Валерия Васильевича Двойникова, заслуженного мастера спорта, вице-чемпиона Олимпийских Игр, чемпиона Мира и Европы, лауреата народной премии «Светлое прошлое» от Фонда им. Митяева. Благодаря тренерской деятельности своего отца, юный Валерий начал путешествовать и познавать окружающий мир с самого детства. Жил и учился в Украине, в Алжире, Португалии, Франции, Голландии и Бельгии... После окончания льежского и брюссельского университетов (факультет международных отношений) Валерий выбрал карьеру политолога, работал в различных министерствах, а с 2004 года является советником бургомистра города Льежа по вопросам здравоохранения, межкультурных отношений и молодежной политики. С 2016 возглавил международный Фонд Петра Великого. Награжден Министерством Иностранных дел за взаимодействие между странами. Пишет стихи и рассказы на французском и русском языках. Печатался в сборниках: «Эмигрантская Лира», «Созвездие Лиры», «Русская и бельгийская поэзия», «Novelas», а также журналах: «Litтerrатура», «Истоки», «Среда», «Literari», «Europe Discovery»... Переводил многочисленных авторов на французский и русский языки. Премиирован на международном конкурсе поэтов и переводчиков «Эмигрантская Лира 2016», конкурсе эссеистов 2017 и на международном поэтическом фестивале в г. Марракеше. Автор двуязычной книги «Любовь по-французски» с участием знаменитого французского музыканта и поэта Жана-Луи Мюра (издательство ИП ПРЯХИН, Тула). Некоторые его произведения и песни переведены на украинский, сербский, арабский и китайский языки. Псевдоним: Жорж Ирвэваль / Georges Yréval.

Ecrire les yeux fermés

Ecrire les yeux fermés,
La bouche entre-ouverte...
Assez pour respirer
Afin de vous transmettre...

Sourire face aux vents
Qui chassent et qui brûlent...
N'aller que de l'avant
Quand le monde recule...

Décrire sans s'arrêter,
Laisant pleurer son cœur...
Sans peur de provoquer
Les frêles intérieurs...

Transmettre tout son sang,
En y trempant sa plume...
Sortir ce qu'on ressent
De sous sa peau de bitume...

Écrire, malgré le temps
Qui fugue et nous dépasse,
D'un trait en emportant
La vie que l'on entasse...

С закрытыми глазами

С закрытыми глазами,
С полураскрытым ртом –
Писать, писать часами
Почти что ни о чём,

Град усмирив, что лупит
По крышам круглый год, –
И пусть весь мир отступит,
Но ты лети вперёд.

Писать без проволоочки,
Меня жизнь вокруг,
Чтоб наизнанку строчки
Нас вывернули вдруг.

Писать подчас и кровью,
Макнув в неё перо,
Спасая мир любовью,
Творить спеша добро.

Писать, забыв про время,
Провидцем тайн прослыть,
Низвергнуть смерти бремя
И в будущее плыть.

Revoir ton atelier

Revoir ton atelier,
Comprendre tes plaisirs
Qui ne font qu'amplifier
Mon infini désir

De te sentir enfin
Heureuse et insouciant,
Au milieu de mes mains,
Tremblantes, insuffisantes...

В мастерской

Прелестных мелочей
 Неуловим здесь дух,
 Где вторит блеск свечей
 Блаженству сладких мук.

И, сна развеяв мглу,
 Ты вся трепещешь вдруг,
 Доверившись теплу
 Моих дрожащих рук.

Ceux qui aiment, reviendront

Ceux qui aiment, reviendront,
 En brisant le silence,
 Abîmés, même blessés
 Sur les routes du destin...

Ceux qui aiment, reviendront:
 Leurs instincts les devancent
 Pour combattre le passé
 A l'encontre des vents...

Ceux qui aiment, reviendront
 Effacer chaque absence,
 D'un pas clair et léger
 Contre l'oubli et le temps...

Ceux qui aiment, reviendront
 Pour combler les carences
 Que d'autres cœurs ont laissées
 Au milieu de leurs chemins...

Все, кто любят, вернуться

Все, кто любят, вернуться,
 Разорвав тишину,
 Боль в сердцах и тревогу
 Пронеся сквозь войну.

Все, кто любят, вернуться,
 Одолев все ветра,
 Позабыв все мученья,
 Что терзали вчера.

Все, кто любят, вернуться
 Души ближним согреть,
 На пороге забвенья
 Не страшась умереть.

Все, кто любят, вернуться,
 Исцелив наперёд
 И сердца нам, и души
 От всегдашних невзгод.

Перевод с французского Владимира Коллегорского

Евгений КАГАН

Бохум

Refaire sa vie¹ или Раскуривать трубки

По Курту Тухольскому².

Слегка модернизированная вариация

И – верно: случается это часто.
И сызнова каждый в попытке счастья,
отбросив, что в силах, не глядя вспять,
с нового старта стартует опять
с музыкой новой. И – лишь держись!..
Француз говорит: «Переделать жизнь!»
Поменяв её всю, – «переснять» – без помех.
(Английский эквивалент: «Ремейк»)
«Жизнь переснять!» ...Ну не бред ли? Нет!
Жизни ремейк – увы, мой предмет.
Ловите на слове, хватайте за руки...

Нам жизнь переснять – что раскуривать трубки.
Не веришь сперва, что выйдет фокус.
Тяжёл табак. Непривычен вкус.
Откладывается никотин в желудке,
живот и душа болят не на шутку;
в итоге:

совсем не приручена вещь
и... нечисти в трубку бы надо – привлечь!
Но годик один – или два, или три –
и... нравится трубку курить как, – смотри.

¹ Refaire sa vie (французск.) – переделать жизнь, сделать жизнь заново, «переснять» жизнь.

² Курт Тухольский (Kurt Tucholsky; 9 января 1890, Моабит, Берлин – 21 декабря 1935, Гётеборг) – немецкий журналист и писатель еврейского происхождения. Он также писал под псевдонимами *Каспар Хаузер*, *Петер Пантер*, *Теобальд Тигер* и *Игнац Вробель*.

И тельца её так знакомы изгибы,
и вьелся табак – так, как мы не смогли бы –
во все волоконца. А ротик – без ссадин!
Возьму трубку в яму... До... прочая впадин:
могила – не место! (Её мы загадим!)
В гробу надоест-то быстрее, чем за день.
И – вновь на дневную поверхность! – из дырки –
ревизии жизнь подлежит или стирке, –
но ты молодец вновь: мужик ты – не вошь.
И новую трубку, глядишь, набьёшь.

Когда же последний вираж вершишь,
внезапно в конце у конца стоишь –
куда как умён; и когда назад
на путь свой витой беглый бросишь взгляд:
как много трубок ты поменял!
как часто новую – начинал;
начинял!
К тому же что-то она свистит –
чревовещатель и трансвестит¹.
...И как новая – помогла?
Чушь!

Та же самая и была.

¹ Сопряжено с иной – и, казалось бы, почти неразрешимой специфической сложностью перевода этого стихотворения. Дело в том, что по-немецки *Pfeife* – трубка, а во множественном числе: *Pfeifen* – трубки, но одновременно это слово (правда, с двумя буквами f: *Pfeiffen*) обозначает и совсем уже другое понятие: свист (ср. с глаголом: *pfeiffen* – свистеть). Курт Тухольский энергично использует в этом стихотворении (и особенно в комментируемом месте) соответствующую игру слов. Мазохистическая попытка перевести соответствующую игру слов немецкого оригинала, предпринятая автором переложения, направлена на максимально точную передачу этой игры смысловых оттенков. Таким образом, в комментируемых двух строках автором переложения допущена произвольная (но не беспредельная!) так называемая «отсебятина», что он и имел в виду в подзаголовке: «Слегка модернизированная вариация» – с перспективой (отчего его попытка и названа им мазохистической) всех возможных шлюзов соответствующей критики. *Евг. Каган*.

Pfeifen anrauchen

von Kurt TUCHOLSKY

Das tut sich wohl des öftern begeben:

Mal beginnt jeder sein ganzes Leben
von neuem. Wirft hin, was er nur kann,
und fängt alles wieder von vorne an,
mit gänzlich neuer Melodie...
Die Franzosen nennens »refaire sa vie«.

Refaire sa vie ... das ist gar nicht einfach.
Refaire sa vie ... ist leider mein Fach.
Dazu sind wir zu gebrauchen...
Refaire sa vie – ist wie Pfeifen anrauchen.

Du glaubst erst gar nicht, dass es sich lohnt.
Der Tabak schmeckt schwer und ungewohnt –
es legt sich das Nikotin auf den Magen,
du hast über Seelen- und Bauchweh zu klagen;
das macht:
das Ding ist nicht abgenutzt,
und die Pfeife ist viel zu wenig verschmutzt.

Aber so eine zwei, drei Jahr –
da schmeckt die Pfeife wunderbar.
Ihr Hals ist dir so vertraut gebogen,
das Holz ist voller Tabak gesogen
bis zur letzten Faser. Und du kratzst nichts ab.
Diese Pfeife nimmst du ins Grab...
Bis zur nächsten. Bis zur nächsten Ecke.
Da krauchst du hervor aus deinem Verstecke,
der Boden bekommt eine neue Schichtung,
das Leben nimmt eine andere Richtung –

Und du bist ein Kerl und ganzer
Mann und steckst eine neue Pfeife an.

Wenn du einmal am Ende stehst,
wenn du die letzte Wende gehst,
wenn du dann klug bist, blickst du zurück,
auf das ganze geschlängelte Stück.
So viel Pfeifen! Viel Änderungen!
so oft hast du eine neue geschwungen!
Und hat die Neue genützt?
Seife.

Es war immer dieselbe Pfeife.

*Theobald Tiger; Die Weltbühne,
28.06.1927, Nr. 26, S. 1028.*

От переводчика:

Переложение этого стихотворения Курта Тухольского сопряжено с рядом дополнительных, специфических сложностей. Весьма вероятно, что в связи именно с некоторыми из них стихотворение это осталось, по-видимому, так и не переведенным на русский язык – в отличие от подавляющего большинства других произведений этого выдающегося и знаменитого автора. (Во всяком случае, автору настоящего переложения при тщательном литературном поиске так и не удалось обнаружить существования даже каких-либо ранее предприняемых попыток.)

Так, например.

В настоящее время, в отличие от времени Курта Тухольского (и в частности, времени написания Куртом Тухольским дан-

ного стихотворения), весьма часто употребляется английский эквивалент французского *refaire* (передельвать) – *remake* (ре-мейк) – термин и понятие значительно более знакомые и понятные современным русскоязычным читателям и слушателям; а иногда даже и употребляемые ими самими.

В связи с этим аспектом автор переложения счёл возможным и необходимым своевольно ввести в предлагаемый им вниманию читателя русский текст переложения, выполненного им, соответствующее упоминание-реминисценцию английского эквивалента (см. ниже в тексте), а использованное Куртом Тухольским франкоязычное (французское) выражение, характерное для его времени, вынести в название (в заголовок), убрав его, соответственно, из ткани самого текста.

Лёд и пламень



Ирене ХРЕКЕР

Кенцинген

ПОЭТ НЕЗРЯЧИЙ, УВИДЕВШИЙ И ЗАПАД, И ВОСТОК

«О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет Небо с Землёй на Страшный Господень суд». Эту мысль английский писатель, поэт и новеллист Редьярд Киплинг сформулировал в своей «Балладе о Востоке и Западе» ещё в 1890 году. И с тех пор человечество получило огромное количество подтверждений этого тезиса. Воистину, «тому в истории мы тьму примеров слышим». Ну взять хотя бы многочисленные региональные войны, национальные катастрофы, межрелигиозные конфликты, террористические акты последнего времени. Не из-за того ли они, что жители западного и восточного миров имеют разные менталитеты, не понимают друг друга?

Но, право, так ли уж безнадежна эта ситуация? Не сыщем ли мы в истории, в нашем недавнем прошлом примеров не только успешного взаимопроникновения различных культур, но и случаев, когда, например, житель Запада настолько постигает основы восточной культуры, что уже становится классиком восточной литературы?

С этим вопросом я обратилась к моему московскому другу Валентину Васильевичу Кузнецову. Он – коренной москвич, в прошлом эсперантист, инженер, преподаватель математики и переводчик. Ответ пришёл довольно быстро и застал меня врасплох. Высланная информация оказалась совершенно неожиданной для меня. Я восприняла её как привет из мира, абсолютно неизвестного мне, даже как учителю, много лет посвятившему изучению русской и зарубежной литературы.

«Ярчайшим примером такого удивительного явления, – пишет мне Валентин Кузнецов, – является жизнь и деятельность

русского писателя, поэта, музыканта, педагога, путешественника Василия Яковлевича Ерошенко. О нём я впервые узнал в шестидесятые годы от журналиста Саши Харьковского, в то время работавшего в журнале «Вокруг света». Тогда и он, и я увлекались идеей международного языка эсперанто. На встречах эсперантистов Харьковский рассказывал, что он пишет книгу «Человек, увидевший мир» о Василии Ерошенко. В памяти сохранилось только то, что русским, приезжавшим в Японию, японцы рассказывали о замечательном японском поэте по имени Еро-сан, выходце из России, а русские отвечали японцам, что не знают никакого поэта Еро-сана, выходца из России, что японцев очень удивляло».

Слова Кузнецова заставили задуматься. Слепой русский, ставший японским поэтом, о творчестве которого неизвестно на Родине? Возможно ли такое вообще?

Знакомлюсь с биографией Василия Ерошенко, размышляю, читаю его сказки, стихи, пытаюсь проникнуть в сокровенные уголки души человека, которого на Востоке называют по-разному: в Японии – Еро-сан, в Китае – Айлосянькэ, в Бирме слепые дети обращаются к нему «кокоджи»... Сам же он называет себя Человеком мира. Узнаю, что Василий Ерошенко ослеп в четырёхлетнем возрасте. По его словам, он помнил только «небо, голубей, церковь, возле которой они жили, и лицо матери. Не слишком много. Но и это всегда вдохновляло и вдохновляет меня на поиски чистых, как небо, мыслей и всегда помнить о Родине, как о лице своей матери, в какой бы уголок земли не бросила меня судьба». Десять лет он обучается в школе-приюте Общества призрения, воспитания и обучения слепых детей в Москве. Там он изучает грамоту для незрячих и, благодаря интересу к чтению, познаёт мир, выходящий за пределы приюта. Он не может не делиться знаниями со своими младшими друзьями. Им рассказывает о других мирах, открывая в себе артистическую натуру. Малыши внемлют ему, затаив дыхание. Позже этих мгновений он забыть не может. И поэтому, когда перед ним встаёт вопрос: «что делать даль-

ше?»), – юноша, не задумываясь, выбирает мир творчества. А узнав от учителя английского языка и эсперанто, что в предместье Лондона – Норвуде – существует Королевский колледж и Академия музыки для незрячих, отправляется туда с гитарой за плечами. Незрячий музыкант идёт в незнакомый мир, в котором находит людей, понимающих его. По своей природе он доброжелателен, честен, доверчив и мечтателен. Такие черты характера, как терпимость, стойкость, терпение, сила воли, помогают ему в его путешествиях. Да и внешне он похож на героя из народных сказок и баллад, что вызывает к нему доверие.

Юноше помогают и представители общества эсперантистов. Сама идея поездки через Европу в Англию, а затем – через Россию в страны Востока демонстрирует единство и братство народов разных национальностей. Валентин Кузнецов пишет мне: «Как бывший эсперантист я подтверждаю, что в эсперанто-движении сильна идея, что зелёная пятиконечная звезда (символ эсперанто-движения) гарантирует свободу перемещения по миру и проживания, поэтому некоторые действительно отправляются в такие путешествия, аналогичные путешествиям по системе автостоп. Думаю, что именно с этой идеей и отправился Ерошенко по миру».

В Лондоне незрячий музыкант изучает классическую музыку, посещает музеи, библиотеки, углубляет свои знания по вопросам истории и культуры страны. А когда он после недолгого посещения Парижа, где изучает французский язык и слушает лекции в Сорбонском университете, возвращается в Англию, его выдворяют из страны за связь с эмигрантами-марксистами.

В 1914-ом году он уже в Японии. Там состоится его знакомство с драматургом Акита Удзюку, который позже скажет: «Ерошенко – первый русский, покоровший сердца японцев». В журналах появляются очерки и сказки Василия Ерошенко на японском языке, и среди них – «Рассказ бумажного фонарика» и философская притча «Дождь идёт».

Может, об этом думает тогда Василий Ерошенко, когда в мае 1916 года в Токийском университете он вступает в спор с Рабиндранатом Тагором? По словам журналиста и переводчика Виктора Рогова, слепой писатель «оспаривал основное положение Тагора о том, что западная цивилизация материальная, а культура Индии – чисто духовная:

– Мне показалось, что вы, опираясь на буддизм и христианство, противопоставляете культуры Европы и Азии. Совсем как Редьярд Киплинг, который писал: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Так вот: с этим я согласиться не могу. У наших культур много общего, и если мы друг друга не всегда понимаем, то это из-за незнания языков. И еще из-за националистов, которые натравливают один народ на другой.

– А чем Вы можете это аргументировать? – спросил Тагор.

Ерошенко минут десять говорил о растущей интернациональной общности людей, о родстве литератур Японии и России, о взаимовлиянии фольклора стран Запада и Востока.

– Расскажите о себе, кто вы такой, – попросил в конце беседы индийский писатель.

– Приехал я из России два года назад, сказки свои пишу по-японски, и товарищи называют меня японским поэтом, – закончил Ерошенко под аплодисменты зала.

А недавно я узнала, что в картинной галерее японского императора в Токио находится портрет Василия Ерошенко работы художника Накамуре Суне. В 1920 году это полотно было признано лучшей в Японии работой, выполненной маслом. Уже в тридцатилетнем возрасте слепой певец снискал уважение японского народа! Такое уважение нужно заслужить!

Страсть к странствиям ведёт поэта дальше. Изучая его творчество, незримо путешествуя с ним по странам Запада и Востока, я вдруг понимаю, что куда бы ни заносила его судьба, вектор его деятельности всегда направлен на оказание помощи незрячим. Перед каждой своей поездкой он ставит конкретные цели и прилагает максимум усилий к их осуществлению.

И это для него главное – не бояться решать задачи, идти к достижению цели без оглядки.

Так, узнав, что в Юго-Восточной Азии нет школ для слепых, он принимает решение уехать в Сиам (Таиланд) и первым делом пытается там открыть школу для незрячих. Но не всё в руках человека, да и долго оставаться в Сиаме поэт не может. Тогда он принимает решение – переехать в Бирму. А когда ему предлагают в Моуллмейне заведовать школой для слепых, соглашается. С этой целью изучает разговорный бирманский язык, а также погружается в мир фольклора. «Сейчас я изучаю воистину прекрасные буддийские легенды – это неисчерпаемый материал. Передо мной раскрылся совершенно новый, доселе неведомый мне мир», – пишет он в одном из писем. А я всё больше убеждаюсь в том, что Ерошенко обладает важным качеством, необходимым для успеха: он умеет видеть задачу, находить путь к её решению, и главное – верит в успех. Этому учит он и своих учеников. И я очень сожалею, что не была одним из них. Одно успокаивает: учиться никогда не поздно.

Там, в Бирме, его настигает весть о революции в России. Он принимает решение вернуться на родину. В то время участвует в работе не только литературного общества «Свитязь», но и в собраниях и съезде Социалистической лиги, а также в первомайской демонстрации. Поэтому не удивительно, что власти не разрешают ему въезд в советскую Россию. И тогда он принимает решение попасть на родину через Индию, Афганистан и Среднюю Азию. Осуществить задуманный план не удаётся, и тогда он принимает ещё одно решение – едет в Китай.

В одном из ранее написанных эссе «Одна страничка из моей школьной жизни» он описывает визит в школу китайского дипломата Ли Хунчжана. Реального аналога этому событию до сих пор не найдено, но, что интересно, в нём исследователи творчества поэта видят модель отношений России и Востока в годы русских революций. Может, уже в момент его написания у Василия Ерошенко зародилась мечта – совершить поездку в Китай? Мечта наконец сбывается, но какой ценой! Когда-то

он не захотел оставаться на родине, чтобы бессмысленно коротать свой век, теперь понимает, что и на Востоке не так-то легко достичь желаемых целей. Вероятно, именно в этот период он создаёт книгу «Стон одинокой души», позже опубликованную в Китае. В ней есть такие строки:

*«Устал я, и скоро в печальную землю
Уйду я на этом нерусском кладбище.
И всё-таки сердцем недремлющим внемлю
Я брату родному, что сам меня ищет...»*

Рассказывают, что поэта услышал классик китайской литературы Лу Синь и пригласил к себе домой в Пекин. В это сейчас трудно поверить, но судьба свела этих двух талантливых людей в нужном месте и в нужный час. Позже поэт Ерошенко станет героем новеллы классика «Утиная комедия». Лу Синь напишет о нём: «Жизнь человека, как падающая звезда, сверкнёт, промчится, оставляя недолгий след... Ерошенко промелькнул, как звезда, и, может быть, я скоро забуду бы о нём, но сегодня мне попала его книга «Песнь предутренней зари», и мне захотелось раскрыть душу этого человека перед читателем». Лу Синь становится переводчиком на китайский язык сборника произведений Ерошенко «Стон одинокой души» и «Сказки».

А уже в 1924-ом году, получив мандат Пекинской эсперанто-лиги, Василий Ерошенко участвует в XV Международном конгрессе эсперантистов в Германии, в городе Нюрнберг. За авторское исполнение стихотворения «Предсказание цыганки» получает премию. Затем несколько месяцев проживает в Лейпциге. С радостью узнаю, что в Лейпцигском городском музее имеется портрет Василия Ерошенко работы немецкого художника и иллюстрация к сказке «Сердце орла».

Что ещё я знаю об этом юноше, изображённом на портрете? Что он знает более десяти языков, что, побывав в Англии, Франции, Японии, Таиланде, Бирме, Китае, Индии и других

странах, он вернулся в Москву в 1924-ом году, что его имя позже будет внесено в японскую энциклопедию и о нём уже сейчас слагаются легенды. Да он и сам – человек-легенда!

Вернувшись на родину, он работает в Москве, живёт на Чукотке, затем одиннадцать лет в Туркмении, обучая незрячих детей видеть мир. Для них он создаёт рельефно-точечный алфавит на туркменском языке и разрабатывает систему образования и воспитания незрячих. Он любит повторять слова: «Дорога – это жизнь».

Умер поэт на родине в нищете и безвестности, оставив после себя завещание:

*Когда умру,
Пусть на могиле
Напишут всего три слова –
«Жил, путешествовал, писал».*

В трёх словах – вся его жизнь, наполненная горестями и радостями, надеждами и их осуществлением, разочарованиями и достижениями. Жизнь Василия Ерошенко – это пример того, что можно достичь, даже если твои возможности ограничены. Нужно только очень захотеть и поставить перед собой близкие и дальние цели. И если даже незрячий человек смог добиться таких результатов, то потенциал человека безграничен. И достойно пройти путь длиною в жизнь каждому помогут слова Василия Ерошенко: «Чтобы пройти по дороге жизни, нужны не большие ноги, а большое сердце; для того, чтобы сражаться в битве жизни, нужны не лапы тигра, не копыта жеребцов, но твердая воля, светлый ум, отважное сердце, дух справедливый и честный, глубокое знание мира».



Волна

и

Камень

Семён ДИЦ

Вупперталь

ФОТОХУДОЖНИК

В конце ноября 2001 года в сторону железнодорожного вокзала славного украинского города Новоград-Волынского шла большая группа людей. Впереди этой странной колонны парни несли на плечах мужчину средних лет, по виду художника. Встречные прохожие не были удивлены столь необычным зрелищем, они знали, что провожают известного фотожурналиста, фотохудожника и общественного деятеля их города В.А. Гольшейдера на постоянное место жительства за границу...

В начале 2000-го мы с женой познакомились с интеллигентной семьёй, выходцами с Украины, Софией и Александром. Моя супруга в то время уже трудилась социальным работником от Вуппертальской культовой общины в городе Золингене. В благодарность за услугу в разрешении бытового конфликта София и Александр пригласили нас в гости. Пока женщины хозяйничали на кухне, доводя до совершенства кулинарные изделия, которым вскоре предстояло исчезнуть в наших желудках, Александр положил передо мной семейный альбом. Обычные фотографии, каких множество в каждой семье... Без особого интереса перелистывая страницы, я остановил взгляд на снимке трёхмерного изображения сестры Аллы. Мне впервые довелось увидеть столь необычное фото.

– Это наш сын сделал, – объяснила София.

– У вас есть ещё его фотографии?

– Очень мало, основной архив он должен привезти через несколько месяцев. Я думаю, ты сможешь познакомиться с его работами, тебе понравятся.

– Он у нас фотохудожник, – с гордостью добавил Александр.

Нельзя сказать, что я не был знаком с искусством фотографии, все-таки я родом из Нижнего Новгорода, где творили из-

вестные мастера данной профессии – Карелин и Дмитриев. Частенько мы с женой посещали персональные выставки известного в СССР фотокорреспондента П.А. Вышкинда, кстати, родного дяди моей супруги. Но я никогда не задумывался, в чём различие между фотографом и фотохудожником до тех пор, пока судьба не подарила мне удачу встретиться с Валерием Гольшейдером, ставшим моим другом.

Валерий родился в семье военнослужащих 3 мая 1957 года в Харькове. Первые годы жизни, как в калейдоскопе, менялись гарнизоны, разбросанные по всему Союзу, в которых служил глава семейства. В школьные годы, как и все мальчишки того времени, Валерий увлекался коллекционированием марок, любил рисовать и мечтал пойти по стопам отца, которого он любил и уважал за его профессию – «Родину защищать». В пятнадцать лет Валерий попросил отца показать, как пользоваться фотоаппаратом. Посмотрев на первые снимки своего отпрыска, родители обратили внимание на его необычный взгляд сквозь фокус камеры. С тех пор он больше никогда не расставался с фотоаппаратом. Закончив успешно десятилетку, Валерий поступил в Хмельницкое военное артиллерийское училище. Отучился почти три года и... понял: военная служба не для него, потому как стихия творчества уже всецело овладела им. Подал рапорт об увольнении командование училища. Прослужив ещё немного старшим сержантом, командиром орудия, Валерий уволился в запас. После чего вернулся в ставший для него родным Новоград-Волынский. В городе жили родители и младшая сестра Алла. Отец в звании подполковника служил в местном гарнизоне, мама работала секретарём-методистом, сестра училась в школе.

Дальнейшую свою жизнь Валерий решил связать с искусством фотографии. Несколько лет трудился в организациях, связанных с его любимым делом, в должности фотографа. Ещё до службы в армии работы Валерия часто печатались в местной прессе. В последующие годы сотрудничал и со всесоюзными печатными органами. Его снимки стали занимать призо-

вые места в многочисленных фотоконкурсах. Он становится лауреатом международных конкурсов.

Семья Валерия по окончании службы отца вернулась в Харьков, где Александр Гольшейдер стал проректором одного из вузов. К тому времени Валера женился на красавице Зинаиде и в его собственной семье подрастали две прелестные дочки – Олечка и Виточка.

Не оставляя занятия фотографией, Валерий находит новый вектор для приложения своих способностей. Он начинает создавать слайд-фильмы, такие как «Одиночество», «Осень жизни», «Осторожно, дети!», «Просто Родина», «Шрамы войны», «Запретная зона» и другие, где выступает в качестве продюсера, режиссёра, музыкального редактора, занимается подбором актёров, реквизита и т.д. Одним из первых был снят фильм «Танго лейтенанта» – о войне, о любви молодого лейтенанта в трагические годы нашего отечества. Удачно подобраны актёры (хотя и не профессиональные) и выразительное музыкальное сопровождение. Зритель видит, с какими любовью и трепетным уважением относится создатель фильма к истории своей родины. Этот фильм наряду с другими его работами имел заслуженный успех не только у жителей Новоград-Волынского, но и на многочисленных советских и зарубежных конкурсах и фестивалях.

Создание подобных произведений требует больших финансовых вложений. На несколько лет Валерий устраивается рабочим в литейный цех.

При этом он продолжает снимать, участвует в различных фотовыставках, проводит персональные выставки; принимает активное участие в общественной и культурной жизни родного города; становится председателем народного кинофотоклуба «Возвягель» при городском дворце культуры и руководителем детской фотостудии «Блик» станции юных техников; в рамках Международного праздника «Лесины джерела» создаёт серию программ слайд-шоу под открытым небом «Воспоминания старой крепости»; организует и прово-

дит вечера «Фотодинастия»; коллекции его работ украшают музеи города и области; в свет выходят календари и буклеты с его художественными фотоработами, где отображены памятные места Новоград-Волынского, сказочная природа родного края, замечательно описанная уроженкой города Лесею Украинкой. Валерий также воспитал много талантливых учеников. В результате был удостоен звания «Отличник народного образования Украины».

После переезда с семьёй в город Вупперталь (Германия) Валерий с первых же дней снимает город и его обитателей, руководит фотокружком в культурном центре еврейской общины. Потом открывает фотостудию при модельном агентстве и фотостудию Blick, где проработал несколько лет. Ещё четыре года трудился в VHS (народная школа) в проекте по реставрации еврейских захоронений – эта деятельность была отражена в ряде городских фотовыставок. Несколько выставок Гольшейдера, посвящённых трагедии Чернобыля, прошли не только в Вуппертале, но и в Золингене, и в Дюссельдорфе – в Генеральном консульстве Украины, за что получил благодарственные грамоты. Узнав о нём, писательская и рисующая братия стали привлекать его к созданию совместных проектов. Один из самых весомых – изданная коллективом авторов во главе с Ефимом Шкловским книга «Мосты Вупперталя», фотографии для которой делал Валерий. Он активно и с удовольствием сотрудничает с такими творческими коллективами, как «Общество украинско-немецкой культуры Lerche», Вупперлиткафе, клубы «Встреча» и «Без маски», женский клуб Вуппертальской еврейской общины. Для последнего он создаёт фотофильм «Мужчина и женщина». (Под аккомпанемент популярной мелодии конца прошлого века перед нами проходит показанная с доброй улыбкой человеческая жизнь. А средством для создания картины послужили предметы, сопровождающие нас от рождения, например, соски и пинетки, до глубокой старости – очки и прочее...) Фотофильм имел большой успех у зрителей.

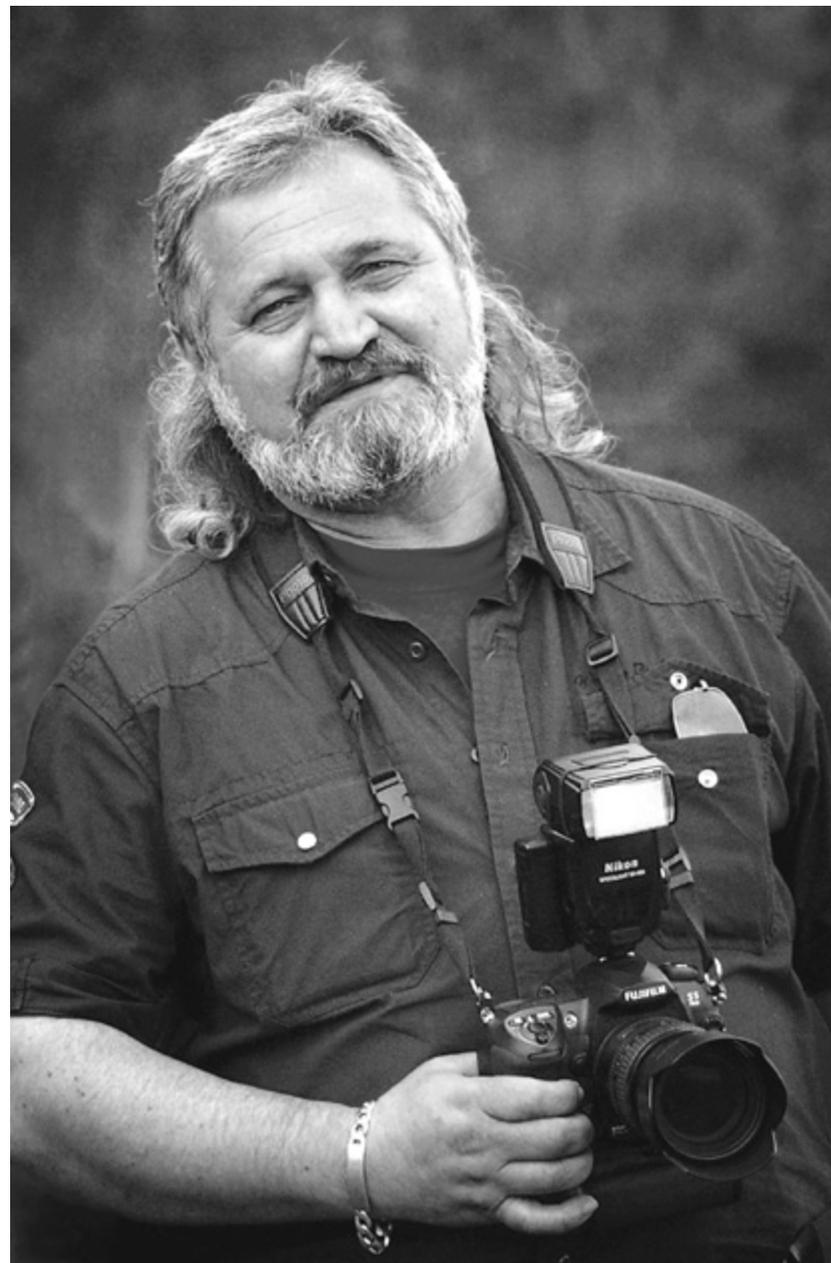
А ещё Валерий обладает редким даром реставрации старых, пожелтевших от времени фотографий. Это очень кропотливый и долгий процесс. Как-то одна пожилая фрау обратилась к нему с просьбой вернуть к жизни единственное сохранившееся фото сестры, погибшей от американской бомбёжки. Честно призналась, что все фотоателье, куда она обращалась, помочь ей отказались из-за очень плохой сохранности материала. Увидев конечный результат работы Валерия, она воскликнула: «Вот такой я помню сестру всю жизнь!» – и заплакала.

Почти шестнадцать лет живет в Вуппертале фотохудожник Валерий Гольшейдер. За это время проведено восемь персональных выставок, издано множество календарей, немало книг местных писателей и поэтов.

Профессия эта не значится ни в каких установленных реестрах специальностей. Ей нигде не учат, у нее нет регламента. Ни один словарь русского языка не дает толкования понятию «фотохудожник». Оно встречается только в Большой Советской Энциклопедии, но не в качестве отдельного понятия.

«Фотография как один из жанров искусства требует от человека не только умения владеть в совершенстве фотографическими приемами и техникой, но и оригинального видения, собственного творческого восприятия мира. Необычное восприятие фотографа в гармоничном сочетании с техническими знаниями позволяют создать действительно живые и яркие снимки, которые будут вызывать неподдельные эмоции у зрителя. Благодаря своему видению изменяющегося мира и личным переживаниям фотограф вырабатывает свой собственный стиль, а его работы неизменно приобретают неповторимые и уникальные черты. Таким образом, возникает определенная незримая связь между фотографией и ее автором».

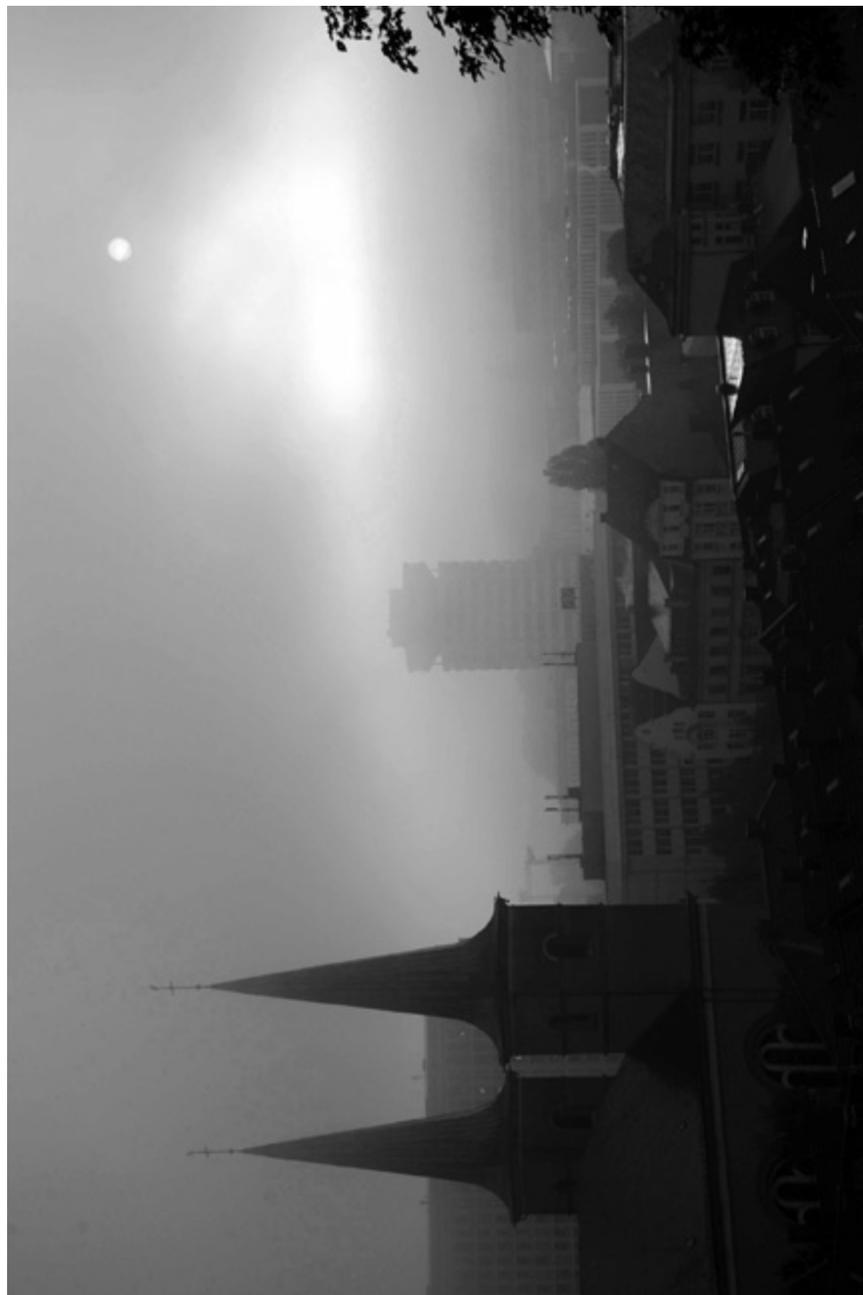
Думается, автор этих слов Ансел Адамс мог бы по праву адресовать их замечательному фотохудожнику Валерию Гольшейдеру и его творчеству.





















Они сошлись



Павел ШАДУР (1913–1999)

«Он родился в дореволюционной Юзовке, ставшей городом Сталино, а затем Донецком. Учился в хедере, в средней школе, несовершеннолетним пошёл работать на металлургический завод, для чего пришлось подделать свидетельство о рождении – проступок простительный, если учесть, что семья страшно нуждалась, а любимая бабушка умерла от голода. Уже тогда рифмы и образы владели юношей, появились первые публикации стихов в заводской многотиражке. Слава стихотворца спасла молодого крановщика от обвинения во вредительстве, когда он, обдумывая нахлынувшие строки, вылил расплавленный металл не по назначению (к счастью для всех, никто не пострадал!). Выгнанный с завода будущий поэт осваивает профессию связиста, которая весьма кстати придётся на войне – в сорок первом Павел Шадур идёт добровольцем на фронт, доходит до Берлина и возвращается домой капитаном.

После войны много и плодотворно сотрудничает с прессой. Его конёк – мастерски написанные райком (род рифмованной прозы) злободневные фельетоны. В 1948 году выходит первая книга стихов. Но подлинную известность ему приносят басни, которые блестяще исполняет он сам и которые звучат с профессиональных и любительских сцен. С годами сатира всё больше уступает место лирике (выходит около десяти сборников), появляются детские стихи, так и не ставшие книгой, с некоторыми из которых читатель и познакомится в этом выпуске.

А ещё он вырастил двух дочерей, возделывал сад и построил дом, который многие годы заполнялся творческой молодёжью Донецка. Но это уже другая тема, к которой когда-нибудь мы обязательно вернёмся».

Эту цитату я привёл, честно взяв её из 5 выпуска нашего альманаха 2006 года. Обещание рассказать о замечательно доме

Павла Яковлевича было выполнено в нашем альманахе в материале «Один поэт из Кот-д'Ивуара...» Ещё цитата:

«На улице Отечественной, в стороне от главной городской артерии, но в то же время в нескольких минутах ходьбы от неё, в глубине двора с яблонями, абрикосами, клубникой и цветами стоял небольшой дом, где жили поэт Павел Яковлевич Шадур и его жена, литератор Любовь Георгиевна Оханова. Близкие люди в глаза, а остальные за глаза любовно именовали их Пашей и мамой Любой. Если есть на земле дома, где разбиваются сердца, то по закону гармонии должны существовать и дома, где сердца согреваются. Дом на Отечественной был именно таким. Какими обездоленными, точнее сказать, обездомленными стали мы все, когда однажды дом был продан, а его хозяева переехали в Киев! (Павел Яковлевич всю жизнь потом считал переезд большой ошибкой). Но продажа дома на Отечественной – дело будущего, а пока здесь постоянно толпится народ, не прекращаясь, кипят литературные (и не только) страсти. Из профессионалов там неизменно присутствовала неунывающая прозаик Нина Крахмалёва и частенько её антипод – сумрачно-молчаливый поэт Елена Лаврентьева. В основном же сюда чаще всего приходили кто сам, кто с друзьями-подругами, начинающие, не обременённые на тот момент ни членством в Союзе писателей, ни изданными книгами, ни (за редким исключением) публикациями литераторы. Саша Лихолёт, Света Куралех, Наташа Хаткина, Гриша Ициксон...»

Посчастливилось бывать в этом доме и мне. Поэтому с чувством огромной нежности и благодарности к Павлу Яковлевичу, к его дому и тому далёкому времени (60–80-е годы прошлого века) готовлю я эту публикацию. Что можно к процитированному добавить? Что бывший молодой связист, пришедший в Берлин в 45-м победителем, посетил его на старости лет в 90-е и был вылечен и фактически спасён от смерти немецкими врачами. Что влюблённый в жизнь поэт Павел Шадур, который

мне однажды признался, что не верит в свою возможную смерть, всё-таки умер, но сделал это тоже как-то по-особенному – 14 февраля, в День всех влюблённых... Ну, и конечно, нельзя не сказать о том, что эти тёплые и светлые стихи для детей из архива поэта, переданные в альманах его дочерью Верой Шадур, публикуются впервые.

Владимир Авцен

Кот

За окошком белый снег
Весело кружится.
Кот проснулся раньше всех
И решил умыться.

Смотрит мама на кота:
– Это, видно, неспроста!
Это значит – жди гостей,
Есть примета у людей.

– Суеверный вы народ, –
Про себя мурлычет кот, –
Просто я – животное
Очень чистоплотное.

Цыпленок

Жёлтенький цыпленок –
Голосочек тонок,
Нежный пух,
Не пух – пушок.
Уходи скорей, дружок!
Потому, что кошка
Сморит из окошка.

Белый медведь

Белый сугроб на медведя похожий –
Проходит с опаскою мимо прохожий.

Белый медведь среди белой метели
Спит до весны в белоснежной постели.

Белый медведь в ручеек превратится
Весной, когда солнце всю разгорится.

Пчела

– Ты куда летишь, Пчела?
– У меня свои дела.
Мне лениться не к лицу
В этот час урочный –
Собираю я пыльцу
И нектар цветочный.
Чтобы каждый мой полет
Вам дарил душистый мед.

Упрямый муравей

Тащит щепку Муравей –
То левее,
То правей.
Муравья в пути заносит.
Говорит ему Пчела:
– Слишком ноша тяжела,
Взял бы ты полегче ношу,
Дотащил бы поскорей...

– Все равно ее не брошу –
 Отвечает Муравей.
 И опять его заносит
 То левее,
 То правей...

Невоспитанные улитки

Рано утром у калитки
 Повстречались две улитки.
 Поздороваться забыли,
 Выставили рожки
 И домишки потащили
 Дальше по дорожке.

Щенок

Бедный маленький щенок!
 Кто тебя обидеть мог?
 Где ты лапку покалечил?
 Мы её полечим.
 Мёдом смажем.
 Перевяжем.
 Это очень вкусный мёд,
 Лапка сразу заживет.

Муха

Эта муха-приставала
 Улетала, прилетала,
 Ела пончики, ватрушки,
 Молоко пила из кружки,
 Чай из чашки и бульон.
 На нее со всех сторон

Кто рукой махал,
 Кто шляпой,
 Кто газетой,
 Кто платком,
 Кот отмахивался лапой,
 Мальчик Петя – кулаком!
 А она себе летала,
 Всех дразнила, раздражала...

Вот такая надоедливая муха!

Кукушка

В лесу кукушка куковала,
 Пока себе не отковала
 Такое долгое ку-ку, ку-ку, ку-ку,
 ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку...
 Что не вмещается в строку.

Ёжик

Дед пришёл с прогулки рано,
 Вынул свёрток из кармана,
 Развернул цветной платок:
 – Посмотри-ка, внучек!
 На платке лежал клубок
 Сереньких колючек.
 – Это что такое, дед?
 Неужели ёжик!?
 У него, бедняжки, нет
 Головы и ножек.
 – Это он такой, пока
 Ему не дали молока.

Колыбельная

Спят на листиках жуки,
В паутинках – пауки,
Даже маленький сверчок
Спит, улёгшись на бочок.

Трое маленьких цыплят
Под крылом у мамы спят.
Злой комар тебя куснул,
Повернулся и уснул.

Платье с пёстрою каймой
Улеглося на покой.
Босоножки под столом
Спят давно глубоким сном.

Рыбки тоже спят в реке
От сетей невдалеке.
В круглых клумбах спят цветы –
Засыпай скорей и ты!

Следопыт

Я, ребята, следопыт.
Для меня весь мир открыт.
След любой прочесть могу
На траве и на снегу.
Например, вот этот след –
Здесь с утра протопал дед.
Здесь сидели воробьи,
А вот здесь следы мои.

Врач

Это наш ушиный врач –
Подходи смелей, не плачь!
Он тебе заглянет в ухо,
Он тебе полечит слух,
Чтоб ты слышала, как муха
Тихо так кружит вокруг,
Как поёт на ветке птица,
Как тихонько под окном
Наша кошка шевелится
И мурлыкает с котом.

Музыка

Решил я музыке учить
Собаку и кота.
Но пес не «ре», а «ры-ы» рычит –
Такая глухота!
Конечно, кот
Не знает нот
И произносит «мя-я-я».
Я говорю: не «мя», а «ми»!
Как с ними справиться с двумя?
С животными, как и с людьми –
Себя замучишь,
Пока играть научишь.

Рукавичка

Вы слышали про Маричку?
Эта девочка вчера
Обронила рукавичку
Возле нашего двора.

Рукавичка та лежала.
 Мышка серая бежала,
 Заглянула по пути:
 – Очень славная вещица!
 Чтоб от холода укрыться,
 Лучше места не найти.
 В рукавичку влезла Мышка.
 Мимо пробежал Зайчишка,
 В рукавичку заглянул:
 – Мне, – сказал он – негде деться,
 Ты пусти меня погреться...
 Влез Зайчишка и уснул.
 Появилась вдруг Лисица:
 – Это что за рукавица?
 Я прошу вас потесниться –
 Я хочу здесь поселиться.
 Заглянул в неё Сурок,
 Влез и занял уголок.
 А потом пришёл Кабан,
 Круглый, словно барабан.
 Громко хрюкнул: – Ну и ну!
 Где же место Кабану?
 А потом пришел Медведь,
 Стал отчаянно реветь:
 – Что за странная берлога?!
 И зверья набилось много.
 Ну-ка, дайте мне дорогу...
 И медведь полез в берлогу.
 Затрещала рукавичка,
 Расползается по швам...

Плачет бедная Маричка.
 Слезы льются по щекам.

Маменькина дочка

Наша Танюша –
 Мамина дочка.
 Наша Танюша
 Вроде цветочка.
 Её опекают,
 Оберегают,
 Что бы ни сделала,
 Не поругают.
 Просят Танюшу:
 – Танюша, послушай!
 Танюша, оденься,
 Танюша, покушай!
 Танюша не хочет
 Сама одеваться.
 И дома не хочет
 Она оставаться.
 И в садик не хочет
 Она отпрапляться.
 Мама хлопочет: – Моя ж ты отрада!
 Может, врачу показать тебя надо?
 Танюша ревет:
 – Я к врачу не хочу!
 Хочу, чтоб сказали,
 Чего я хочу!

Ручей

– Ты чего шумишь, Ручей?
 – Это я зову грачей!
 Поскорей летите, птицы,
 Чтоб испытать моей водицы!

Кораблик

Возьму листок кленовый,
На нем поставлю мачту,
А к ней прилажу рею
И парус натяну.

И поплывет мой новый
Кораблик наудачу
Быстрее и быстрее...
И я на нём плыву.

Провалился по колено

(из Грыцька Бойко, с украинского)

Я на лыжах вниз спустился.
Мчал быстрее всех,
Но упал и провалился
По колено в снег...

– А чего же снег набился
В волосы, Борис?
– По колено ж провалился...
Головою вниз.

Валерий ВОСКОВОЙНИКОВ

Бохум

КОГДА ЭДИСОН БЫЛ МАЛЕНЬКИМ
Из цикла «Жизнь замечательных детей»

Его звали Аль

Когда Эдисон был маленьким, его звали просто Аль.

Вообще-то полное имя у него было Томас Альва, только кто же будет звать пятилетнего мальчика длинным именем, если можно сказать короче. Поэтому его так и звали – Аль.

– Аль! – кричала рано утром мама. – Ну где он уже успел потеряться? Завтрак остывает, а его нет!

Мама очень переживала из-за младшего сына.

– Да не потерялся он, – объяснял старший брат Вилли. – Он стоит за сараем и наблюдает, как распускается одуванчик.

– Аль! – снова звала мама. – Мальчик мой, куда ты опять делся? Пора обедать.

– Аль стоит на берегу канала, – объясняла маме средняя сестренка, Танни. – Он наблюдает, как работает машина, и говорит, что к вечеру сам построит такую машину, только игрушечную, деревянную.

– Это невозможный ребёнок. Сбегай, позови его домой, он ещё не знает, что пятилетнему ребёнку не под силу сделать паровую машину.

Аль и гусыня

Вокруг дома, где жил маленький Аль с мамой, папой, сестрой и братом, происходило много чего интересного. Вдалеке на холмах росли прямые высокие сосны. Вечером, когда боль-

шое усталое жёлтое солнце спускалось к горизонту, их стволы казались золотыми. А вокруг поблизости были зелёные луга, поля. На лугах паслись коровы, а с полей фермеры на повозках подвозили зерно. Это зерно они ссыпали широкими деревянными лопатами в огромные амбары на берегу канала. Зерно так и лежало в амбарах высокими кучами до тех пор, пока за ним по каналу не приплывал колёсный пароход с вереницей барж.

Пароход хрипло гудел, бил по воде своими колёсами, и вода рядом бурлила, вспенивалась. Берег у канала был невысокий, покрытый травой, с него были хорошо видны проходящие мимо пароходы, которые везли камень, уголь, руду... А ещё на берегу на верфях голые по пояс рабочие строили большие лодки, они громко пели разные песни, и Аль любил им подпевать.

У всех людей в той местности были огороды, жили куры, утки. У Аля около дома тоже был огород. И была гусыня. Гусыня важно прохаживалась мимо Аля, а иногда, когда хотела его поугатать, грозно раскрывала клюв, изгибала шею и громко шипела. Но однажды утром гусыня не вышла гулять, а осталась сидеть в сарае в тёмном углу.

– Не мешай ей, – сказала мама, – у неё серьёзное дело – она гусятков высиживает.

Аль стал каждый день заходить в сарай и однажды утром увидел, что вокруг гусыни бегают, попискивают маленькие пушистые гусята.

Когда подошло время обедать, мама, как обычно, стала его звать, но на этот раз ни сестра, ни брат его нигде не могли найти.

– Господи! Сделай так, чтобы с ним не случилось ничего страшного! – в ужасе повторяла мама.

Аля уже искали все взрослые. Отец послал несколько работников, чтобы они осмотрели берега канала. Другие побежали к амбарам, третьи решили идти по дороге в дальний лес и одновременно осмотреть все окрестности.

– Этому ребёнку постоянно приходят в голову неожиданные мысли! – говорил отец, рассерженный, что приходится отрывать от работы столько людей.

Лишь к вечеру, когда уже наступали сумерки, мама заглянула в сарай.

Маленький Эдисон сидел в темном углу сарая и важно молчал. – Он здесь! Наш Аль здесь! – закричала счастливая мама.

Мальчика обступили взрослые, а мама хотела быстрее схватить своего любимого сына на руки. Но он не дался.

– Не мешайте мне, – сказал Аль, сидя на корточках, – я занят серьёзным делом.

– Что ещё за дело? Какое серьёзное дело может быть у пятилетнего ребенка в сарае?! – спросил отец сердито.

– Я высиживаю маленьких утяточек, – ответил Аль. – Видите, подо мной три утиных яйца.

– Что я говорил! – Отец развёл руками. – Этому ребёнку постоянно приходят в голову неожиданные мысли.

И окружающие не могли понять, то ли отец при этом смеется, то ли плачет.

Страна, в которой рос Эдисон

Страну, в которой рос Эдисон, называли Америкой.

Только она была совсем не похожа на современные Соединенные Штаты Америки. В то время ещё не изобрели автомобили, электростанции и самолёты. А на железные дороги и пароходы все смотрели как на чудо техники. К ним ещё не привыкли, и если человек собирался куда-нибудь поехать по делам или в гости, он садился на лошадь и отправлялся в путь по зелёным просторам. Людей в Америке было ещё не так много, места хватало всем.

Отца Эдисона звали Самуэль, а маму – Нэнси. Прадедушка Самуэля был голландским мельником, но однажды он погрузил свою семью на деревянный парусный корабль, переплыл через океан и поселился в Америке.

В Америке Эдисонов уважали. Во время знаменитой войны за независимость на бумажных американских деньгах стояла

подпись одного из Эдисонов. Ясно, что подписывать денежные купюры доверяют самому честному человеку в стране.

Когда Эдисоны собирались вместе, посторонние ими просто восхищались: все они были высокого роста, большой силы, друг на друга похожи и никогда не сидели без дела. Правда, работающей была тогда вся Америка, каждый или что-нибудь строил, или работал на полях, или разводил скот, или отправлялся на поиски золота. Отец Аля, Самуэль Эдисон, тоже работал всегда: он завёл мастерскую и там вместе с работниками делал из дерева материал для крыш и строил дома из сосновых брёвен.

Когда Алю было шесть лет, его отец, как и его прадедушка, однажды погрузил все имущество семьи, вместе с коровой, собакой, гусями и утками на колёсный пароход своего друга Альвы Бредли – Аля, между прочим, назвали как раз в честь этого бравого капитана. Капитан Бредли повёз их по каналу, через озеро, по реке. Так семья переселилась в городок Порт-Гурон.

Новый дом Алю понравился. По нему было интересно бегать: в доме было двадцать комнат, а ещё каретник, большие сараи, конюшни, мастерские, фруктовый сад... Дом стоял на высоком берегу реки, окружённый высокими соснами, а мимо проплывали пароходы.

Рядом с домом находились казармы солдат. Духовой оркестр часто играл военные марши. И с утра до вечера маршировали солдаты.

Кроме того, в городе была школа, и Аля в неё записали.

Школа – это, конечно, хорошо, да не очень

Все знали, что Аль любит засматриваться и забывает при этом обо всём на свете. Но зато не всякий взрослый мог ответить на вопрос, сколько пальцев на лапке у ящерицы или как паук ткёт паутину, не всякому хватало терпения сидеть около цветка и весь день наблюдать, как он распускается.

Алю же на это терпения хватало. И когда он пошёл в школу, он тоже на уроках на что-то засматривался и задумывался. А учителям это совсем не нравилось.

– Томас Эдисон, – учитель называл Аля вторым именем, которое было дано ему в честь дяди, – повтори немедленно, о чём я только что говорил!

Но Эдисон в это время вспоминал паровозные механизмы, которые показал ему на железнодорожной станции новый папин знакомый, машинист. И учителя он, конечно, не слушал.

Прошло три месяца, и учителя по всем предметам поставили Эдисону плохие отметки.

– Ваш сын не способен к учению и лучше взять его из школы домой, – сказали учителя маме.

– Я с вами согласна, – ответила мама с грустной улыбкой, – по-видимому, моего Аля нужно учить иначе.

– Вы его никогда и ничему не научите, потому что ваш сын – тупой, ограниченный ребенок, – говорили учителя.

– А вот здесь я с вами не согласна. Мой Аль – очень талантливый мальчик, только для него ваша школа не годится.

Мама у Аля когда-то получила хорошее образование, и даже сама однажды создала школу. К тому же она любила своего сына и знала его лучше всех. Проучившись три месяца, будущий почётный академик многих стран больше в школу не ходил никогда.

Книги и опыты

Мама решила: пускай сын занимается тем, чем ему интересно.

Если он будет продолжать дело отца – дипломы ему не нужны. Если же он захочет стать учёным, то, в конце концов, сможет сдать экзамены. Главное, что Алю многое интересно, ему не обязательно слушать скучные голоса учителей – свои знания он может получить из книг.

Мама взяла сына за руку и привела в центр города, в народную библиотеку. Вместе с ним они прочитала несколько толстых книг с золотыми корешками. В книгах были напечатаны увлекательные истории про разные страны и про научные открытия. Настолько увлекательные, что мама и сама зачиталась. С тех пор Эдисон стал целыми днями сидеть в библиотеке. Ему было девять лет, а он читал такие серьёзные учёные книги, которые, кроме него, в их городе никто не читал. Даже школьные учителя не знали, о чём в этих книгах написано.

Из всех наук Эдисону особенно понравилась химия. Химические опыты, про которые писалось в книгах, можно было повторять дома.

Когда в огороде созрел урожай, Эдисон погрузил овощи на двухколёсную тележку, отвёз их к вокзалу и выгодно продал. На вырученные деньги он купил в аптеке химические реактивы и склянки. Скоро у него уже было больше ста склянок с реактивами. Они стояли на полках в подвале, и Эдисон проделывал опыт за опытом.

Он соединял две прозрачные бесцветные жидкости, а в результате получалась жидкость красная. Он опускал медную монету в жидкость, и через минуту монета превращалась в серебряную.

Однажды он прочитал в научной книге, что если собрать лёгкие газы в пузырь, то этот пузырь будет летать по воздуху. Такой опыт тоже стоило проделать. Правда, у аптекаря не было пузырей, но зато были порошки, из которых готовили шипучую воду.

– Очень много газа выделяют, – подтвердил аптекарь.

«А пузыри мне ни к чему, у меня собственное тело есть. Это даже интереснее: не пузыри будут летать, летать буду я сам».

– Михаэль, – спросил он у своего приятеля, с которым часто играл, – хочешь полетать со мной под синим небом?

– Не знаю, – сказал Михаэль неуверенно, – разве такое возможно?

– Возможно, ещё как возможно! Для этого всего-навсего нужно стать легче воздуха.

– А как я стану легче воздуха?

– Мы вместе проглотим порошки. Эти порошки выделяют лёгкий газ, и газ поднимет нас к небу. Полетели, а то мне одному скучно.

– А потом как же? Вдруг нас ветром унесёт?

– Мы рулить будем. Руками или ногами. А когда захотим приземлиться, понемногу этот газ выдохнем.

Михаэль согласился на полёт.

Эдисон купил у аптекаря столько порошков, что можно было изготовить бочку шипучей воды. Мальчики вышли на поляну рядом с домом, чтобы им ничто не мешало взлететь, и стали глотать порошки один за другим.

Уже на третьем порошке Эдисон почувствовал бурление у себя в животе.

– Выделяется! – сообщил он Михаэлю. – Газ выделяется! Сейчас взлетим!

Но у них вдруг из носа и изо рта стали выдуваться пузыри, жёлтая пена, воздух пошёл толчками, и вкус во рту при этом был препротивный.

А потом ужасно заболел раздувшийся живот.

Михаэль тоже схватился за свой живот и заплакал.

Хорошо, что их поляна была рядом с домом, иначе они бы до дома и не добрались.

А дома их немедленно стала лечить мама.

Газеты и лавки

Для новых опытов Алю требовались новые реактивы, а деньги кончились. И тогда он нанялся на железную дорогу газетчиком.

Рано утром из их городка в большой город Детройт отходил поезд.

Чтобы успеть к нему, надо было встать в шесть утра. Аль проехал на поезде двести километров, сошёл в Детройте, сам нашел редакцию газеты, купил там задёшево сотню газет, сел в тот же поезд и по дороге распродал газеты намного дороже. Домой Аль вернулся в одиннадцать вечера, а в шесть утра снова поднялся и поехал в Детройт.

Так он стал зарабатывать деньги на свои опыты.

Газеты покупали охотно, ведь ещё не было ни радио, ни телевизора. А многие интересовались новостями. Когда в Америке происходило важное событие, Аль бежал к знакомому телеграфисту в Детройте, и тот рассылал на станции короткие телеграммы про это событие – и тогда на каждой станции Аля ждали толпы мужчин, потому что все хотели прочитать об этом событии в газетах.

В такие дни ему удавалось продать несколько сотен газет.

Дела у него пошли так хорошо, что он в своём городе у вокзала открыл две лавки и нанял на работу двух мальчиков. Один мальчик продавал газеты, другой – сладости, печенье и фрукты. Эдисон делил с ними выручку поровну, но хлопот у него теперь стало намного больше.

– Странный у вас сын, – говорили маме некоторые знакомые. – Ему бы ещё играть, а он по городу мечется, всегда в делах. Куда он свою выручку тратит, ведь у него большой заработок?!

– Что же в этом странного? – удивлялась мама. – Мальчик зарабатывает деньги. А на выручку покупает научные книги и приборы для опытов.

Своя газета

Однажды Аль Эдисон нашел у старьевщика ломаный типографский станок, сам его починил и решил издавать собственную газету.

Он поговорил с начальником поезда, и ему выделили часть почтового вагона. Друг Эдисона по фамилии Пульман – тот

самый, который потом изобретёт знаменитые пульмановские вагоны, – построил в почтовом вагоне для Эдисона маленькую типографию и лабораторию.

Теперь Аль узнавал самые свежие новости у знакомого телеграфиста в Детройте, бежал в свой вагон, быстро-быстро писал статьи и набирал собственную газету. Это была первая газета в мире, которая печаталась в поезде.

Лесорубы, рабочие лесопилен, фермеры на разных станциях стали собираться к поезду, чтобы купить газету, которую издавал двенадцатилетний мальчик. Ведь в ней были самые свежие новости. На том месте, где обычно стоит подпись главного редактора, стояло взрослое имя: Т. А. Эдисон.

А ночью Аль продолжал читать научные книги и ставить опыты. Теперь он увлекся электричеством и телеграфом. Это были совсем новые области науки, ими на земле занималось совсем немного людей.

Спасение ребенка

Однажды на станции, которая называлась Маунт-Клеменс, Аль, как обычно, пробегал со своей пачкой газет по платформе и увидел страшную картину: от поезда отцепили разгруженный товарный вагон. Этот вагон медленно и бесшумно покатился по рельсам, а на рельсах у кучи песка играл маленький сын начальника станции.

Люди на платформе, которые это видели, онемели от ужаса. Ещё минута – и вагон должен был раздавить маленького ребенка. И тогда Эдисон бросил свои газеты и побежал по платформе наперегонки с вагоном. Ему удалось обогнать вагон совсем немного, но этого хватило, чтобы спрыгнуть на рельсы и в последнее мгновение выхватить маленького ребенка из-под колёс. На платформе облегченно вздохнули. А некоторые даже кричали ура.

– Ты спас моего ребёнка, – сказал двенадцатилетнему Эдисону начальник станции, – и я не знаю, как с тобой расплатиться. Люди мы небогатые, но я готов отдать всё, что у меня есть...

– Поучите меня работать на телеграфе, – попросил Аль.

– Это я с удовольствием! – обрадовался начальник станции. – Конечно, я тебя научу. Я и сам недавно освоил эту штуку.

Так Аль изучил, как работает телеграф, и сделал свою телеграфную установку. Тогда ещё города не были освещены электричеством. Это как раз потом сделает тоже Эдисон. Но телеграф без электрического тока работать всё равно не мог. И Эдисон создал в своём подвале гальванические элементы, провёл от них провода на станцию к телеграфу и стал получать свежие новости, не выходя из дома.

Страшное несчастье

С каждым днём дел и забот у Аля Эдисона становилось больше.

Надо было снабдить две свои лавки, в которых по-прежнему работали знакомые мальчики, журналами, газетами и продуктами.

На каждой станции его ждали люди, которым он продавал собственную газету. По пути пассажиры поезда часто хотели перекусить и попить. Ведь поезд проходил двести километров, и дорога занимала больше пяти часов. Для таких пассажиров Эдисон нанял третьего мальчика, который ходил по поезду и продавал закуски, напитки.

Сам же Эдисон в это время проводил опыты в своей лаборатории и в почтовом вагоне, читал научные книги или печатал собственную газету.

Но однажды случилось несчастье.

На маленькой станции Эдисон, как обычно, соскочил на ходу с поезда на платформу, чтобы успеть продать больше газет. Его сразу окружили покупатели. А в этот момент паро-

воз дёрнул вагоны, и никто не мог, конечно, догадаться, что с полки в лаборатории Аля упала банка, а в банке был кусок белого фосфора, который от соприкосновения с воздухом загорается.

Когда поезд тронулся, Аль ещё продолжал продавать газеты. Как обычно, он успел вскочить в предпоследний вагон и пошёл вперёд к своему вагону. А в вагоне уже полыхало пламя. До пожара первым успел добраться начальник поезда. Вместе с Алем они сумели погасить огонь.

На следующей станции начальник поезда выбросил на платформу остатки сгоревшей типографии и самого Аля вместе с его товарами и газетами. Поезд двинулся дальше, а Эдисон стоял на опустевшей платформе рядом с дымящимся хламом.

«За всю жизнь я никогда не был в таком отчаянии, как тогда, когда лишился своей первой лаборатории», – вспоминал взрослый Эдисон об этом страшном несчастье.

Потом, когда Эдисону исполнится пятьдесят лет, его друг и гениальный создатель автомобиля, Генри Форд, решит в своём поместье построить музей Эдисона. Для этого он проложит полкилометра рельсов и купит здание станции, на которой стоял в отчаянии мальчик Эдисон. Это здание Форд разберёт, перевезёт в своё поместье и поставит рядом с рельсами. Ещё он разыщет точно такой же вагон, в котором были типография и лаборатория Эдисона, перевезёт его к себе и установит на рельсы.

Кем стал Эдисон

В день того страшного несчастья закончилось детство великого изобретателя Эдисона. Зато началась его взрослая жизнь.

Остатки лаборатории он снова перевёз в родительский дом, в подвал. А сам стал работать телеграфистом. Очень скоро он сделался лучшим телеграфистом в Америке.

Потом он изобрел свой телеграфный аппарат, потом – свой телефон, потом аппарат, который записывал звук, – фонограф. Голоса многих известных людей, и даже писателя Льва Николаевича Толстого, мы можем сегодня слушать, потому что Эдисон прислал им свой фонограф.

Эдисон зарабатывал деньги, чтобы ставить опыты в лаборатории. Едва он немного разбогател, как купил большой участок земли и построил здание, где поместилась знаменитая в будущем лаборатория Эдисона. Вместе с ним с удовольствием там работали самые талантливые и увлечённые молодые люди. Они изобретали с утра до вечера, а часто даже и спали прямо на лабораторных столах, чтобы с рассветом снова взяться за работу.

Эдисон занялся электричеством, и по всей Америке загорелись электрические лампы. Эти лампы, а также выключатели, трансформаторы и всё, что нужно для прохождения электрического тока, тоже изобрёл Эдисон.

А ещё он изобрел электричку. Первая электричка ездила вокруг его лаборатории и катала любознательных людей.

Скоро в каждом американском, а потом и в европейском доме были какие-нибудь изобретения Эдисона, которые облегчали людям жизнь. Потому что он улучшал и совершенствовал всё, чем пользовались люди, – пишущие машинки, аппараты для дойки коров, получение химических материалов...

Удобные и добрые изобретения Эдисона помогают нам жить и сегодня. И все люди на Земле благодарны за это великому человеку.

Дина ТЕЛЕВИЦКАЯ (1951–2011)

Автор многих книг стихов и прозы для детей и взрослых.

Я рисую слово «мир»

Над землею солнце светит,
На траве играют дети,
Речка синяя, и вот –
Теплоход по ней плывет.
Вслед за узенькой тропинкой
Девочка идет с корзинкой.
Вот дома – до неба прямо,
Вот цветы, а это – мама.
Рядом с ней сестра моя –
Слово «мир» рисую я.





Деревенька

В палисадниках дома,
 А вокруг деревья,
 На скамейке – я сама.
 Здесь моя деревня.
 Приезжаю каждый год
 Я сюда на лето.
 Бабушка моя живет
 В деревеньке этой.
 Я раскрашу синей краской
 Дом, коричневой – терраску,
 Ну а огород и сад –
 Всеми красками подряд!
 Я б еще нарисовала,
 Жалко только, места мало!



В избушке Зимы

В этой маленькой избушке
 Шьет Зима себе подушки,
 Две метелицы-подружки
 Вышивают накидушки.
 Дед из снега лепит сон,
 Льдинки выдувает он
 И рассказывает сказки
 Под хрустальный перезвон.

Снежная сказка

Снег кружится за окном –
 Снежный город, снежный дом,
 Кто-то вдруг взмахнул волшебным
 Рукавом или крылом.
 Звезды в небе расцвели,
 Хороводы завели,
 И поплыли над землею
 Снеговые корабли.



Ворона

Нарисую осень:
 Лес нарядный очень,
 Сыроежками пестры
 Мха пушистые ковры.
 Здесь веселые ромашки
 И рябинные костры.
 Над зеленой лужицей
 Паутинки кружатся.
 Листья – осени корона...
 Как ты в этот лес попала?
 Я ж тебя не рисовала!



Дом

Ночь. Давно все спят кругом
 На холме у леса дом.
 Светится окошко –
 Поглядим немножко.
 Варит кашу важный кот,
 Заяц пряжу здесь прядет,
 Бабушка из пряжи
 Детям сказки вяжет,
 Вяжет из волшебных слов
 Шапки для ребячьих снов...

НЕЗАБУДКА

В одной стране жили только цветы. Там были цветочные улицы, дома и даже дворец, в котором цветочный президент и цветочный парламент решали важные государственные дела. Однажды в этой стране долго шел дождь. А когда он закончился, все увидели, что появился новый цветочек. Неброский, с голубыми лепестками, он рос себе, набирался сил и вскоре захотел узнать, как его зовут. Но никто не знал, да и никому не было дела до какого-то безымянного цветка. Лишь старая Маргаритка посоветовала обратиться к Розе, Пиону и черному Гладиолусу.

– Уж они-то наверняка скажут, кто ты, а может быть, и откроют в тебе что-нибудь необычное.

Когда Роза узнала, зачем ее беспокоят, очень рассердилась:

– Я недавно возвратилась с юга, приобрела там модный аромат. Стану я растрчивать его на всякие безымянные цветы!

Пион оказался любезнее:

– Да не нужно вам знать, кто вы! – воскликнул он. – Цветите, радуйтесь солнцу и поймите, что ничего необыкновенного в вас нет!

Черный Гладиолус сказал, что улетает в Голландию, но можно послать фотографию его секретарю, который попробует помочь. Но цветочек не стал фотографироваться – он был нефотогеничен. Цветочек шел по улице и плакал. Незаметно забрел в старый парк. Там его увидели девушка и юноша. Они недавно поженились и проводили свадебное путешествие в красивейшем уголке земли.

– Смотри-ка, Незабудка! – воскликнула девушка.

– Незабудка! – обрадовался ее муж. – Давай возьмем ее с собой, она будет напоминать нам о счастье. Они взяли цветочек, купили для него хорошенький домик-ящик и увезли с собой. А что было в Цветочной стране! Розы и Георгины раскраснелись от зависти, Пионы надулись, а черный Гладиолус то и

дело повторял: «И чего они в нем нашли!?» Только старая Маргаритка радовалась за Незабудку и желала ей счастья...

...В далекой северной стране сидели в своем садике старик и старушка. Они радовались, слушая смех своих и чужих внуков. А вокруг, среди множества цветов, росли целые голубые облачка. – Это были внуки и правнуки Незабудки из Цветочной страны.



Рената ВОЛЬФ
Дуйсбург

СКОЛЬКО ЦВЕТА, СКОЛЬКО СВЕТА!

Во всем огромном спящем свете
Одна звезда над крышей светит,
А остальное – фонари,
И есть предчувствие зари.

Как сладко спят под утро дети!
Звезда им с неба в окна светит,
Их сны легки, как облака,
И нет предчувствия звонка.

Кто же я?

Я медлительна и прятка,
То я страус, то улитка.
Если стресс грозит иль шок –
Сразу голову в песок,
А депрессия и грусть –
Лучше в домик заберусь.
Вроде добрая, не злючка,
Отчего я вся в колючках?
А погладь меня немножко –
Замурлыкаю, как кошка.
То я лебедь, то я гусь,
Кто же я? Не разберусь!..

Не повод!

Сколько цвета, сколько света!
Всё апрель-чудак:
Из зимы и сразу – в лето,
Сходу, просто так...
Раздел апрель листвою
Флору всю подряд.
Одуванчики толпою
У дорог стоят.

Ну а если снова холод,
Гололед, метель?
Это все равно не повод
Укорять апрель.



Рисунок
Ренаты Вольф

Елена МОРОЗОВА

Киев

ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ

Маленькая Лиза наклонилась над тетрадкой и сосредоточенно считала. Потом показала мне длинное число.

– Чтобы я родилась, вот столько человек должны были жениться друг на дружке за две тысячи лет.

– Ты точно посчитала? – поинтересовалась я.

– Точно. У моей мамы и папы тоже были мама и папа, а у тех свои, и так много раз, – глядя в тетрадку, объяснила Лиза свои расчёты. – И если бы какая-то мама затерялась, то вся цепочка поломалась бы. И меня не было, то есть, я не родилась бы. Это – пирамида вверх ногами. Называется генеалогическое дерево.

Лиза была ребёнком-квантом, это те, что пришли на смену детям-индиго и детям-кристаллам, её привезла подруга, и они уже несколько дней жили у меня.

– А если взять ещё две тысячи лет до нашей эры, – Лиза снова склонилась над бумагой, но тут же подняла ко мне лунные глаза. – А сколько людей всего жило на Земле?

– Это знает интернет. Можно посмотреть.

В комнату вошла Света, мама Лизы.

– Чем занимаетесь, девочки?

– Научно считаем всех людей, – сказала я с нажимом.

Света замерла.

– Мама, а кто родил Адама и Еву? – вдруг спросила Лиза.

– Их сотворил Бог-отец.

– А кто родил Бога?

– Он был всегда. Он никогда не рождался. Бог вечен.

– Ма, а вечных двигателей не бывает. Это наука уже доказала.

Мы со Светой переглянулись.

– Я не понимаю, когда человек сам рождается! Без мамы и папы, – настаивала Лиза.

Она чертила какие-то загогульки и обводила их по несколько раз шариковой ручкой.

– А кто тебе сказал, что Бог – человек?

Лиза посмотрела на мать твёрдо.

– А кто?

– Он, как бы тебе сказать, ну как волшебник, чародей, маг.

– Фокусник, что ли? Все фокусы имеют научное решение.

Вот дядя Витя в Деда Мороза переодевался. Никто его не узнал, а потом я костюм видела и бороду белую.

– Лизонька, – вмешалась я. – Есть такая книга Библия и в ней написано, что Бог Адама с Евой поселил на Земле, оставил здесь размножаться, плодиться и жить счастливо. Мы многого не знаем. Потому что, потому что мы как... – тут в окно влетела мушка, – как вот эта муха. Она твои вычисления никогда не поймёт, даже если будет ползать по ним тысячу лет.

Лиза с любопытством взглянула на молодую мушку, рывками бегающую по столу.

– Какие же мы глупые, – вздохнула она.

 Семейный альбом 



Елена МОРОЗОВА

Эдик. 4 года

Спрашиваю:

– Эдик, что подарить тебе на день рождения?

Отвечает мечтательно:

– Колотушку-подушку.

Спрашиваем, чем занимался сегодня в садике.

Рассказывает, что наводили порядок в группе.

– Эдик, а кто убирал?

Отвечает:

– Два человека и ещё две девочки.

– Ну когда уже ко мне настоящий Дед Мороз придёт? То дядя Витя, то мама Вики...

Светлана ЖУРАЛЕХ
Донецк

В семье две девочки 7 лет – Ксюша (родная) и Аня (приёмная).

Учатся в 1-м классе. Ане учёба порой даётся с трудом, и Ксюша успешно выступает в роли строгой учительницы. Иногда Аня не выдерживает, и звучит диалог:

– Ты мне не сестра! (начинает, заметьте, приёмная Аня)

– Как не сестра? А кто же?!

– Не сестра!..

– А кто?..

Диалог продолжается до тех пор, пока не наступает примирение и не начинаются обнимашки-целовашки.

Сёстры замечают в небе стаю птиц, которые летят и летят...

Делают открытие:

– Ой, птицы не кончаются!

Смотрят в театре оперы и балета «Ромео и Джульетту».

Аня в зависимости от происхождения повторяет две фразы: «Ужас!» и «Ух ты!»

У Ксюши при появлении Ромео неожиданно начинаются рыдания, сквозь которые прорывается фраза:

– Разве такого можно полюбить!?

(Надо сказать, что артист действительно не дотягивает до образа и по возрасту, и по комплекции.)

Аня:

– Папа, а зачем Бог создал жука-вонючку?

Папа озадаченно:

– Понимаешь, Анечка, есть вопросы, на которые не знают ответа ни я, ни мама, ни даже Бог...

Аня:

– Да, ни ты, ни мама, ни Бог не знают. А Ксюша – знает!

РИСУЕТ АНЯ





РИСУЕТ КСЮША





